

РАФАЭЛЬ

АРАМЯН



Рафаэль Геворкович Арамян

Неоседланные лошади

[Рассказы]

Перевод с армянского

Арабат из Бюракана

Посвящается Мартиросу Сарьяну

Волосы его оттенка старого серебра. Глубокие морщины, пересекаясь, бороздят лицо. Взгляд задумчив, обращен в себя...

Медленно шел он по улице. Шел, опираясь на палку, когда детский голос вскрикнул:

— Не наступите на рисунок!

Художник остановился. Внизу, у конца его палки, начинался другой мир, самобытный и удивительный.

Маленькая девочка рисовала мелом на тротуаре, а веснушчатый мальчуган охранял ее рисунки.

— Дедушка, пройдите той стороной, — попросил мальчуган. Но художник не ушел.

Девочка рисовала на тротуаре другую девочку — с бесконечным множеством пальцев, большущими круглыми глазами, лучеобразными ресницами и бантом, завязанным бабочкой. Платье сверху донизу было утыкано пуговицами... Рядом с девочкой, нарисованной мелом, был нацарапан песик: мордочка вздернута кверху, кончик носа словно белая пуговка, а на животе — бесконечный пуговичный ряд.

Художник спросил:

— Для чего эти пуговицы?

Оторвавшись от своего занятия, девочка взглянула вверх. Ей показалось, что и художник, седобровый и седовласый, тоже нарисован мелом. И, улыбнувшись, девочка ответила:

— Чтоб он застегивал шкурку.

— Ах, вот как! — задумчиво произнес художник и тверже оперся на палку, чтобы удобнее было смотреть.

Люди шли, равнодушно обходя веснушчатого мальчугана, художника и девочку, рисующую на тротуаре. Шли, не видя нового мира, который рождался у их ног. А художник смотрел и думал с восхищением: «С какой любовью и ликованием, с детской ясностью и непосредственностью

смотрит эта девочка на мир».

Лукавые веселые глаза улыбались сквозь нарисованные мелом лучеобразные ресницы; рисунок словно подмигивал художнику, а песик с накрепко застегнутой шкуркой вилял хвостиком. Казалось, мгновение, и жизнь, струящаяся по тротуару, увлечет рисунки за собой.

Склонившись к девочке, художник спросил:

— А песик кусается?

— Кусается, кусается! — воскликнула девочка с бурным желанием убедить и напугать. И вдруг, словно сама поверив этой выдумке, в ужасе отдернула руку: — Ой, укусил, укусил! Вот за этот пальчик!

Художник взял ее руку в ладонь, прищурившись, посмотрел на запачканный мелом оттопыренный пальчик и, покачивая головой, сказал:

— О, какой глубокий укус!

Девочка отдернула руку и звонко засмеялась:

— Обманула! Обманула! — и, наклонившись, продолжала рисовать.

Веснушчатый мальчуган был снова на посту. Он кружился вокруг девочки, зорко следя за тем, чтобы никто не наступил на рисунки.

«Какое у нее непосредственное видение», — мысленно повторил художник и почему-то вспомнил критика, который твердил: «Если я этого не вижу, значит, этого нет!» Воспоминание о критике отвлекло художника лишь на какую-то долю секунды и тут же забылось.

Теперь девочка рисовала на тротуаре кружочки.

— А это что? — спросил художник.

— Яблоки, — отвечала девочка, продолжая увеличивать число кружочков.

Двое прохожих с папками под мышкой направлялись к ним.

— Осторожнее! — предупредил веснушчатый мальчик, но они не обратили на него внимания. Девочка испуганно шарахнулась в сторону, и прохожие сначала растоптали песика, потом наступили на завязанный бабочкой бант, на яблоки...

Художник гневно окликнул их:

— Рисунки, разве вы не видели рисунков?

— Ну и что же? — пожал плечами один из прохожих, несущих папки. И они прошли. Прошли спокойно, равнодушно, растоптав ногами целый мир. Девочка, готовая было расплакаться, заметила волнение старого художника и, удивленно глядя на него, сказала:

— Ничего, дедушка, все можно нарисовать снова!

— Все можно снова нарисовать... — не столько ребенку, сколько сам себе задумчиво промолвил художник и, твердо опираясь палкой о землю, пошел дальше.

Он вернулся домой раньше обычного, поднялся в мастерскую и остановился перед автопортретом, висящим на стене. С полотна, взметнув кисть, смотрел на художника его двойник. Автопортрет словно был в движении. Казалось, еще мгновение — и рука, поднявшая

кисть, опустит ее на полотно или же... Художнику вдруг показалось, что кисть нацелилась для удара по прохожим с папками.

С полотна смотрел на художника он сам, в те времена еще только начинавший сесть. «Вероятно, думаешь, что я постарел, — обратился художник к автопортрету и снисходительно усмехнулся, — ошибаешься! Глаз мой видит острее, а рука...»

Он выбрал одну из кистей, лежавших на стуле, — ...рука не дрожит!

С минуту художник и автопортрет, взметнув кисти, смотрели друг на друга, потом, опустив кисть, художник оглядел мастерскую.

Нет, ничего не теряет художник. Он может все восстановить — достаточно расставить вдоль стен полотна, и девушка, любимая им когда-то и ставшая его женой, и парень — друг отроческих лет, которого уже нет, и уголок двора, давно уже разрушенный, и персиковое дерево, срубленное годы назад, и золото солнца, неповторимым блеском залившее Араратскую долину, и пейзаж родины, написанный кровавыми мазками, оранжевыми, синими ударами кисти, — все это вновь оживет, и вчерашнее станет сегодняшним.

Нет, ничего не теряет художник. Вот портреты его друзей. Многих из них нет в живых. Нет? Неправда! Разве не вчера, опираясь на палки, шли они вдвоем по улице, и старый поэт говорил: «Когда мне холодно, я прихожу к тебе, Мартирос. В мастерской твоей так много солнца...» Художник прищурил глаза. Пейзаж на стене излучал потоки солнца. А рядом — сочные, синие тени и страны, которые он посетил много лет назад.

Одно из полотен, заключенных под стекло, блестело. Чтобы лучше видеть, художник подошел ближе. И, увеличиваясь, придвинулось его отражение. Художник улыбнулся. Отражение повторило эту улыбку.

«Все-таки я постарел, — подумал художник, притрагиваясь к своим сединам, и вспомнил слова маленькой девочки: «Все можно нарисовать снова».

Разве не так же смотрел он на жизнь? Потери, потери и ценой этих потерь приобретенные сокровища истины, мудрость. Корабль, который вез с Парижской выставки его картины, загорелся...

Художник вплотную подошел к картине, заключенной под стекло, склонился и, как в окно, стал смотреть на яркий пламень маков, который зажег своими красками на полотне.

Корабль сгорел...

Сгорели все полотна. Сгорели надежда, вера. И тогда высохли краски, положенные на палитру для нового полотна. Друзья высказывали соболезнование, утешали. Очистив палитру от высохших красок, он положил на нее новые, свежие краски, взял кисть и сказал слова, которые сегодня слышал от маленькой девочки: «Все можно начинать сызнава!»

И он писал, каждый день писал. Ушел из мастерской, вынес мольберт на большие дороги и снова писал.

Он писал жизнь, текущую по этим дорогам. Окунул кисть в солнце и разбросал вокруг себя цветы и солнечные лучи. И каждый день ему виделось новое, не виденное раньше: синеватые буйволы, тяжело и царственно движущиеся по опаленным зноем полям: пламенные оранжевые горы, врезающиеся в лазурь неба; залитые светом поля; тени, таящие в себе игру всевозможных цветов и оттенков; крестьянские девушки в цветастых нарядах, с золотыми сережками в ушах. Виделись дышащие трепетной зеленью дали. Арарат и Арагац, и люди, которые не хотели, чтоб он видел их такими.

Художник усмехнулся: «Злятся... но что я могу поделывать, если они именно таковы. Приукрасить? Нет! Я пришел не приукрашивать, а видеть прекрасное. Я пришел бичевать зло, а не ухудшать. Подобно той маленькой девочке я расстелил мои рисунки на дороге жизни. Остановитесь на миг, чтобы всмотреться в мир, который видите каждый день. Видите, но не замечаете. Остановитесь... Но горе вам, если растопчете его!..»

Он все еще улыбался.

— Ничего, все можно нарисовать снова, — произнес он уже вслух и, очнувшись от собственного голоса, вышел из мастерской и позвал: — Кто здесь есть?

— Я, — откликнулся из столовой сын.

— Помоги мне собраться. Еду в Бюракан. Хочу написать Арарат из Бюракана. * * *

Вместе со старым художником поднялась в Бюракан группа молодежи. По дороге он сказал:

— Каждый человек красив и ценен в своей неповторимости. Пусть каждый из вас пишет свой Арарат.

— Но Арарат ведь один, — несмело заметил юноша, шагавший рядом.

— А вас много, — ответил художник и, уединившись, приготовился писать.

Перед ним расстилалась озаренная солнцем Араратская долина, над нею возвышались большая и малая вершины Арарата.

Он выбрал на палитре первую краску, краску, которая должна была стать цветовым тоном всей картины, и осторожно положил ее на полотно.

Чуть отступив, посмотрел на Арарат, взглянул на полотно и, беззвучно напевая, начал работать.

В синем небе отливала белизной вершина Арарата. Розовый свет озарял его подножья, зелень казалась прозрачной, звенящей, а солнце разбрызгивало золото по садам.

Кровавый мак, поднявшийся у мольберта, закрывал горизонт. Художник сдвинул мольберт вперед.

На холсте оживала Араратская долина, вся в синих тенях и оранжевых лучах. Вдали, в теневой глубине, угадывалась дымчатая дорога.

Художник поднялся, посмотрел на Арарат, взглянул на полотно и почему-то снова вспомнил маленькую девочку, рисовавшую мелом на тротуаре. Потом прохожих, которые растоптали, убили начертанный мелом мир, и повторил про себя: «Ничего, все можно нарисовать снова! Напишу тебя, играющий на тротуаре ребенок, счастливая девочка, потом буду писать тебя, любимый мой Арарат. Буду писать снова и снова, буду писать из Бюракана, ибо на вершины надо смотреть с высоты».

...Смеркалось... Художник закрыл мольберт, взял в руки полотно и зашагал вниз, к Бюракану. Седая голова его казалась нарисованной мелом на темнеющем небе. Тьма сгущалась, путала дороги. А он шел, повторяя слова маленькой девочки: «Ничего, все можно нарисовать снова».

Перевела Э. Кананова

Трудный миттельшпиль

В годы войны я с товарищем заночевал в одном покинутом доме. На стене висела картина, изображавшая корриду. Бык и матадор стояли друг против друга и... я разрезал картину на две части, чтобы все, все изменилось, когда вернутся хозяева дома... * * *

Стояли тихие весенние вечера. Словно черные стрелы, стремительно носились в небе ласточки. От соседней стены, выложенной грубыми неотесанными камнями, поднималось высокое, пронзительное, яркое небо, которое в эти часы долго не гасло.

Самой лучшей порой были весенние вечера. Земля пахла испеченными в горячей золе яблоками, а детские игры имели свою, особую прелесть. Потом сразу становилось темно, и детей звали домой. Загорались огни, появлялись летучие мыши, и во дворе под тутовым деревом домашние усаживались за ужин.

Все это Рубен вспомнил, сидя за шахматной доской, и подумал про себя: «Да, то была самая лучшая пора». Но все, что он вспомнил, смешалось в вечерних сумерках, где не было ласточек и земля не пахла испеченными в горячей золе яблоками. Может быть, для кого-нибудь, кто еще играет в жмурки, земля и пахнет печеными яблоками, но для него все это прошло и больше не повторится.

Любители шахмат, окружившие стол, внимательно следили за игрой. Он хорошо знал всех их. Вот этот усатый, например, похож на пешку, которая стоит на второй горизонтали, но уже возомнила себя королевой. А тот, что стоит рядом с усатым, похож на пешку, передвигающуюся под прикрытием фигур. А сам он? Сам он походил на пешку, которая достигла седьмой горизонтали, но никак не может пройти в королевы.

Седьмая горизонталь... В жизни он никогда не достигал восьмой. Оставаясь на седьмой, он помогал другим. Многие учились у него, но притворялись, что ничему не научились.

Сидящий напротив него был как раз одним из таких. Безграничная снисходительность Рубена не раз отводила наказание от тех, кого следовало бы наказать.

Мысли спутались. Он провел ладонью по лицу как бы для того, чтобы разгладить, привести их в порядок. Не получилось. Обиды, великодушие, минуты слабости — все перемешалось.

Вместо того чтобы сделать очередной ход, он откинулся на спинку стула и стал спокойно ждать.

Чего он ждал?

...Есть вещи, которые ожиданием не предотвратишь, например, смерть. Она надвигается на тебя, и если ты остаешься неподвижным, она надвигается на тебя с удвоенной быстротой, пока вы не встретитесь в одной точке. И тогда горе тебе... Да, есть вещи, которые нельзя предотвратить, и они придут, когда наступит их время, и самое лучшее — просто быть наготове...

...Они разместились в покинутом доме, чтобы переночевать. Он сопровождал товарища в тыл. Нет, товарищ не был ранен — в окопах схватил воспаление легких, Товарищ спросил:

— Кто ты по национальности?

— Армянин.

— У меня был дружок армянин.

— Что, ранили его?

— Почему ранили? Я не на войне с ним дружил, а еще в мирное время.

На стенах висели картины. Старинные и современные. Одна из них изображала корриду. Человек и бык стояли друг против друга. Стояли, угрожая друг другу.

Ночью больной бредил, а он сидел у оставленного в покинутом доме радиоприемника и слушал музыку. Сначала передавали Шуберта, потом фронтовые вести, затем снова музыку... Когда кончится война и люди вернуться домой, все изменится, а эта картина — бык и человек — останется такой же. Подумав об этом, он достал из кармана нож и разрезал картину на две части... чтобы бык и человек больше не угрожали друг другу. Обе половинки он повесил на разных стенах, чтобы все-все изменилось, когда вернуться хозяева дома...

...Противник сделал ход, а он все еще был там, в своих фронтовых воспоминаниях. Потом, неизвестно почему, вспомнил старый анекдот, который в сущности и не был анекдотом. С фронта возвратился домой солдат, у которого было трое детей. Возвратился и видит: за столом сидят пятеро детей и едят мацун.

— А чей этот, четвертый? — спрашивает солдат.

— Гарегин, твой сын. Когда ты уходил на фронт, я была беременна, — отвечает жена.

— А этот, пятый, чей?

— А что этот, пятый, мешает тебе? Вот сидит себе и ест мацун. Ты что, сердишься?

— Я не сержусь, — отвечает солдат.

...Рубен посмотрел на собравшихся вокруг стола, потом обхватил руками голову и сосредоточился. Ответный ход противника не менял положения — просто он сделал этот ход, чтобы запутать игру и создать у зрителей впечатление серьезно задуманной комбинации.

Мысли и воспоминания опять овладевали им, хотя очередной ход был у него уже обдуман. Черные и белые квадраты на шахматной доске казались затемненными и освещенными окнами, за которыми разместились воспоминания прожитой им жизни, а шахматные фигуры — людьми, завладевшими заветными уголками этой жизни. Люди такие — они входят в чужую жизнь, как в покинутый дом. Если бы они это делали, чтобы лучше узнать ее, — еще куда ни шло, но они думают, что чужая жизнь — это нечто вроде пустой рамы, в которую каждый может вставить свой портрет.

Возвращаясь с фронта, он познакомился в вагоне с пожилым солдатом.

— Жена, дети есть? — спросил пожилой солдат.

— Не успел...

— Нехорошо. Когда вернешься, женись, не годится жить бобылем.

— А ты?

— У меня четверо детей.

И тут он почему-то рассказал пожилому солдату тот грустный анекдот. Наверное, потому рассказал, что в нем ничего анекдотичного не было, это был просто рассказ о великодушии.

Пожилый солдат выслушал, улыбнулся в усы и сказал:

— Хорошая история. У меня четверо детей. Говорят, в тылу жизнь была не легче фронтовой. Дай бог, всех четверых живыми, здоровыми увидеть, а если довелось бы увидеть и пятого — не беда. Пусть себе живет и ест мацун.

Рубена ждала девушка, на которой он потом женился.

— Знаешь, Рубен, сколько я тебя ждала? — спросила она.

Не так уж долго. Мать ждала дольше, и ей еще придется ждать, ведь старший сын, его брат, пока не вернулся. Впрочем, нужно ли ее сравнивать с матерью? Она еще не стала матерью.

Он вернулся в выцветшей гимнастерке. К нему часто приходили фронтовые товарищи в таких же гимнастерках, стареньких, потертых.

— Ты не должен встречаться с этими людьми. Кто они такие?

Он мог бы договорить мысль жены, но не договорил. Вернее, хотел сказать другое, но не сказал. Не обратил внимания он и на медную дощечку, которая вдруг появилась на двери его квартиры, чтобы каждый мог узнать, кто хозяин и как его зовут.

Он еще долго ходил в выцветшей фронтовой гимнастерке, хотя жена говорила:

— На концерт в ней не пойдешь, да и вообще в таком виде на людях стыдно показываться. Нужно купить костюм...

До сих пор он не думал о костюме, но после слов жены подсчитал деньги, и оказалось, что на хороший костюм маловато. И тогда у него родилась мечта — найти крупную сумму. Он мысленно представлял себе, что эти деньги уже нашел, мысленно делил их между родственниками, и так щедро, что на костюм снова ничего не оставалось. Тогда он увеличивал воображаемую сумму, снова делил ее, и снова на костюм ничего не оставалось. Это было своего рода развлечение, которое долго его забавляло.

Однажды он получил небольшой гонорар и наконец купил костюм. Потом он ходил с женой на концерты. А время шло. Родилось у них двое детей, но оба умерли...

Нет, ждать нельзя. Есть вещи неизбежные, как сама смерть. Надо сделать ход. Он снова провел ладонью по лицу, посмотрел на шахматную доску: все было на месте, только ему почему-то показалось, что черных квадратов больше, чем белых, и его внимание привлекло светлое, сверкающее между черных квадратов поле. Туда, именно туда нужно переставить коня, и все будет кончено.

Когда он развелся с женой, из нарсуда он отправился прямо в гостиницу, где снимал номер. Он попробовал решить шахматную задачу, но не сумел. А сумеет он решить ее сейчас? Непременно сумеет. Так что же лучше — то, что не сумел, или то, что сумеет?

Он нашел и другой ход, который принес бы ему победу, пусть скорую... А зачем победа, разве она обязательна? В годы войны однажды увидел в покинутом доме картину, изображавшую корриду, разрезав ее пополам, быка повесил на одну стену, а человека — на другую. И бык, и человек избежали и победы, и поражения.

Говорят, что люди похожи либо на быков, либо на матадоров... Кто об этом говорит и почему? Зрители? Но они ведь только зрители, и они любят матадоров, хотя и гонят их навстречу смертельной опасности. И если матадор убивает быка — зрители восторгаются, а если погибает — хоронят с почестями...

— Игра слишком затянулась, — сказал кто-то из зрителей. — Бесполезно сопротивляться, когда ясно, что ты проиграл.

— Разве? — Рубен поднял голову и по ироническим улыбкам понял, что речь идет о нем. Он хотел было сделать ход, который принесет ему победу, но тут же подумал: не надо. Победа унижит противника. Победить равного себе или проиграть ему — одно и то же. Самое лучшее, если оба найдут путь к победе и обоим удастся избежать поражения. Нет, он не победит, хотя уже нашел ход, который ведет к победе. Решено — ничья, да, да, ничья. Правда, все это кончится тем, что зрители негодуя освистают матадора, не убившего быка и не убитого быком, а быка выгонят вон с арены, затем матадора перестанут выпускать на арену, потому что он не сумел убить быка и сам не погиб, а быка погонят на зеленый луг, потому что он не умеет убивать и не дает убить себя.

Противник, что сидит по ту сторону доски, из тех матадоров, которые родились, чтобы выходить из игры либо со щитом, либо на щите. А он сделает так, чтобы не случилось ни того, ни другого. Да, он сделает именно так. Ничья, только ничья.

Он пододвинул стул ближе к столику и улыбнулся. Он нашел способ наказать противника. Если коня поставить на светлое поле, все кончится миром. А если... Станный он человек — зачем же думать о победе, раз он твердо решил ни в коем случае не добиваться ее.

Когда он развелся с женой, до него дошли слухи, что она во всем обвиняет его. Что ж, если ей нужно оправдаться, пусть оправдывается. Он не стал опровергать того, что говорила о нем бывшая жена. Когда они как-то встретились на улице, он посмотрел на нее в упор, а она опустила голову. Кто же из нас был виноват? Никто. Время было тяжелое — вот и все. Он гордо вынес все невзгоды того времени, ей же нужен был предприимчивый человек, и она нашла такого...

— Время...

Он протянул руку к коню. Не потому, что его торопили, а просто так. Среди черноты поля светлел один квадрат. Туда он и поставил коня. Противник не предвидел этого хода и растерялся. Затем, оценив ситуацию, спросил:

— Значит, ничья?

— Да.

— А если б ты сделал другой ход?..

— Победил бы.

— Как?

— А вот так.

И он показал ход, который принес бы ему победу.

— А почему же ты не сделал этого хода? — спросил противник.

Почему не сделал? История длинная, да он ни за что и не рассказал бы ее. Долго, очень долго он шел к такой развязке и теперь устал... И он сказал:

— Хороший вечер. Я тороплюсь. Если бы я победил, ты потребовал бы сыграть еще одну партию, и я не смог бы отказаться.

— Это неубедительно. «Если бы мог — победил бы» — противник рассерженно смешал фигуры.

Рубену были знакомы подобные люди. Со дня рождения они недовольны тем, что родились,

что живут, что трудятся. Будучи вечно недовольными, они требуют постоянного внимания к себе. Это те люди, которые любят быть любимцами.

Он встал с места. Нет, не время разбираться сейчас в категориях людей. Он был очень утомлен, никто из собравшихся вокруг стола и не подозревал, какой длинный путь он преодолел, прежде чем сделать свой последний ход... В кино теперь часто показывают фильмы, в которых герой молча разговаривает с самим собой, молча вспоминает пережитое. И все это зрители видят и понимают. А вот он не может показать на экране весь тот долгий путь, который он прошел, чтобы сделать ход конем и закончить игру вничью.

Был мягкий, приятный вечер. Его ждала девушка. С ними, с девушками, хорошо отдыхать, и если ты устал в дороге и тебе негде отдохнуть, иди к девушке. Среди них можно встретить и такую, что может стать твоей спутницей. Она спросит, откуда ты идешь и что там было хорошего, и ты расскажешь ей о прошлом. Такая не просто для кратковременного отдыха, она пойдет с тобой и дальше и будет слушать твои рассказы о пройденном пути.

Сегодня они решили пойти в кино, увидеть фильм, герой которого вспоминает свое прошлое. А где наше прошлое? Оно и в пройденных тысячелетиях, и в грядущем...

Мягкий вечер, земля пахнет печеными яблоками. Вокруг тишина и мир. Он идет и чувствует себя так, словно живет уже в двадцать первом веке.

Он пересек улицу, прошел маленький сквер, где дети, вместо того чтобы играть в войну, втыкали в песок зеленые веточки.

Он был утомлен, ибо шел издалека и направлялся далеко, и потому не остановился, а только улыбнулся малышам и продолжал свой путь. Девушка ждала его на углу. Они собираются посмотреть фильм, в котором герой, сидя в кресле, все время вспоминает прошлое. Так течет и река, но русло ее остается неизменным, хотя река иногда выходит из берегов, вырывая прибрежные камни и неся их с собой в неизвестные дали... * * *

— У нас еще есть время, можем мороженое поесть и поговорить, — сказала девушка.

— Можем, — согласился он, и они зашли в открытый павильон.

— Ты говорил, что ресторан «Пти-Шан» находился на площади?

— Да, на площади.

— Говорил...

— Что там был бассейн, и оркестр исполнял увертюру к «Кармен».

— Увертюру к «Баядере».

— Странно.

— Совсем не странно. Ереван был похож на сцену со старыми декорациями.

— Любопытно. Говоришь, гостиница «Европа»...

— Находилась там, где теперь «Армения»...

Они придумали такой способ разговора, что-то вроде игры, проигрывал тот, кто замешкается и не сразу же доскажет. И тогда они оба смеялись.

— И...

- Имела всего один балкон...
- А под ним...
- Стоял мусорный ящик...
- А на нем...
- Кот фыркал на щенка.
- Ты это помнишь?
- Помню. Будто ничего с тех пор не изменилось, будто и сейчас еще кот фыркает на щенка.
- Интересно. Потом ты помнишь...
- Мшо.
- Который...
- Садился в городском саду...
- И...
- Крутил рулетку.
- А вы платили ему по копейке и ничего не выигрывали.
- Ничего.
- Ты мне обещал рассказать об этом. Ты говорил, что первым безумцем...
- Был Мшо.
- Вторым...
- Виноватый Маркос.
- Потом?
- Наверное, Лесной Фрукт.
- Потом другие фрукты, — девушка весело рассмеялась. — Ты мне обещал еще...
- Рассказать о слепом дудукисте.

Девушка положила руку ему на плечо:

— Когда мы так разговариваем, получается, что говорит один. Ты становишься мной, а я становлюсь тобой. Так хорошо, правда?

Девушка обернулась к соседнему столику:

- Почему они на нас смотрят?
- Наверное, их удивляет разница в нашем возрасте.
- А сходство?.. Разве они не видят, что мы можем говорить так, будто говорит один?
- Наверное, не видят.

— И не слышат. — Девушка рассмеялась еще громче, чтобы сидевшие за соседним столиком ее услышали. Потом посмотрела на часы и сказала: — Что ты сегодня делал?

— Играл в шахматы.

— Выиграл?

— Ничья.

— А мог выиграть?

— Мог.

— А почему же не выиграл?

Девушка разыгрывала еще только дебют своей жизни, и ему трудно было ей объяснить.

— Но ты мог победить, правда?

— Мог.

— А почему не победил?

В ее голосе было столько сожаления, что сам он не понял, как у него вырвалось:

— В другой раз выиграю.

— А если проиграешь?

— Значит, проиграю.

— Нет, я не это хотела сказать. Если проиграешь, не огорчайся, я с тобой разделю это горе.

Женщины такие: они или утешают нас, или гордятся нами. Они любят делить горе или победу, как... И он сказал:

— Как мы — фразы.

— Как мы — фразы, — отозвалась девушка.

Оба рассмеялись, потом девушка обернулась к соседнему столику и громко сказала:

— Пойдем, пора уже. Говорят, хорошая картина. Герой вспоминает свое прошлое. Интересно, правда?

— Интересно.

Стемнело. На улицах зажглись огни. Они шли медленно. Он был утомлен, никто не знал, какой длинный путь он прошел, чтобы закончить игру вничью, чтобы на душе у него стало спокойно. Никто не знал. И сам он не сказал, что утомлен. Впереди еще предстоял долгий путь, и если он смотрел назад, то только потому, что прощался с прошлым, а не жил им. Там, в прошлом, другая женщина все еще ждала его и, наверное, думала, что он устал и должен отдохнуть: отдохнет и вернется пройденной дорогой назад, к ней. А он хотя и устал, но идет вперед, и если смотрит назад, то только потому, что прощается с прошлым — с весенними вечерами своего детства, пахнущими печеными яблоками, с родными, сидящими под тутовым деревом, со своей матерью, с ее излучающими свет глазами...

— Будь светом, мать...

— Что? — удивилась девушка.

— Ничего, мать вспомнилась. Она так говорила, когда вспоминала свою мать.

У девушки мать была жива. Девушка была очень молода — она жила только завтрашним днем и не думала о том, что после завтрашнего дня наступит вчера, что тех, кто рождается, впереди ждет смерть.

Она не думала об этом и промолчала, потому что они шли в кино, герой которого вспоминает прожитое.

— Будь светом, мать...

— Не повторяй же. Не знаю почему, но мне от этих слов становится грустно. А потом мне кажется, что у тебя два лица: одним ты смотришь назад, вторым — вперед, и это меня смущает. Не повторяй.

— Будь светом, мать...

— Видишь, я прошу тебя, а ты повторяешь, — уже недовольным тоном сказала девушка.

А он не слышал ее. Будущее рисовалось ему как бы во мгле, а далекое прошлое стало видеться яснее, озарилось светом. И все это принадлежало ему, это был его мир. И потому он на этот раз повторил про себя: «Будь светом, мать». Повторил и улыбнулся девушке, которая шла рядом. Потом глубоко вдохнул воздух, и ему показалось, что земля пахнет печеными яблоками и он слышит голоса своих близких, ужинающих под тутовым деревом.

— Ты обещал, что расскажешь.

— Да, я дал слово и расскажу.

— Значит, расскажешь о Мшо?

— А потом и о других безумцах.

— И о себе расскажешь, ведь и ты безумец, в своем роде неповторимый безумец.

— Все неповторимы, и жаль, что многих уже нет.

— Жаль, — сказала девушка, хотя она и была очень молодой, не испытала утрат и не знала, что значит жалеть об ушедших.

Перевел К. Серебряков

Освещенные окна

Днем снег растаял, а ночью снова подморозило. Мороз сковал все вокруг ледяной глазурью. Черные стволы деревьев, казалось, окаменели, утратили свою гибкость и вот-вот на глазах рассыплются. Студеная зима сияла мертвой белизной холодного кафеля.

На самой линии горизонта, там, где молочное небо сливалось с мерцающей белизной земли, медленно скользил красный автобус. Красный, как багровое зимнее солнце, он никак не оживлял, не согревал ледяное безмолвие. А в автобусе было тепло, пахло ванильным тестом, и под скамейками уставших от долгого путешествия пассажиров лежали связанные

куры. Прямо за водителем на руках у женщины спал ребенок. Боясь остаться наедине с нелюдими зимой, водитель обернулся. У малыша раскраснелись щеки, рот полуоткрылся, и ослепительно белый зубик, будто маленькая льдинка, таял на его розовых губах. Водитель улыбнулся молодой матери и снова устремил взгляд на дорогу. Напарника его рядом не было, он дремал сзади на скамейке, дожидаясь своей смены. Напарник был там, откуда доносился заманчивый аромат ванильного теста, где под скамейкой лежали связанные куры и на руках матери спал ребенок. «А я остался один на один с этой безжизненной зимой», — подумал он о себе и рассердился, чувствуя, что за спиной у него стеклянная стена, что стеклянная стена отделяет его от людей. И чтобы раздражение улеглось, вспомнил, что на стекле была выгравирована марка автобуса и еще... Он знал, что еще там написано. Но убедил себя, что не знает, и снова обернулся. Ребенок ровно дышал во сне. Зубик, белевший как льдинка между его румяными губками, казалось, подтаял еще немного, стал меньше. Водитель снова улыбнулся матери, резко обернулся и нажал на сигнал, просто так: не было видно ни поворота, ни встречной машины. Звук получился непротяжный, он сразу оборвался от стужи и неожиданно громко обрушился на автобус. Кое-кто из пассажиров проснулся, водитель с беспокойством повернул зеркальце: ребенок спал. Он облегченно вздохнул, большие широкие ладони вновь сжали руль, потом правая рука потянулась к приемнику, пальцы нащупали в пачке папиросу, размяли ее и поднесли ко рту. Он прикурил, переключил скорость и решил ни о чем больше не думать.

— Не успеем, — сказал один из пассажиров.

— Да, глупо встречать Новый год в дороге. Кажется, будто ничего не изменилось, вроде бы и не было Нового года. Ведь обычно подводишь какой-то итог, ставишь точку, после которой начинаешь что-то новое с красной строки, с большой буквы.

Водитель прибавил скорость и сам себе улыбнулся. «Успеем, обязательно успеем», — сказал он неслышно и поискал в зеркальце говорившую пару. Нашел: сначала увидел блестящие головки авторучек, аккуратно пристегнутые к карману пиджаков. Оба пассажира были средних лет, худощавые, у обоих галстуки были повязаны тщательно, но немного старомодно. Водитель решил, что это учителя. Точка, новая строка, большая буква — все подтверждало его предположение, и он обрадовался своей прозорливости. Послышались шаги напарника... Но он знал, что время смены еще не наступило. Напарник на что-то наткнулся, слышался звон посуды, и в автобусе запахло вином.

— Извините.

Водитель сдвинул зеркальце вправо. В зеркальце появилась голова товарища-сменщика. Он нагнулся и что-то поправлял на полу. В противоположном уголке зеркальца смеялась молодая женщина с ребенком на руках. Он обернулся. Будто для того, чтобы увидеть, что же произошло позади него. Ребенок спал. Водитель улыбнулся женщине и снова выпрямился на сиденье.

— Пойди отдохни, — положив руку ему на плечо, сказал напарник.

Но он не ушел назад, сел рядом с заменившим его товарищем. Напарник засучил рукава, и сразу автобус словно рвануло с места, будто в машине заменили мотор.

— Может, еще успеем, — сказал один из учителей.

— Успеем, — уверенно отозвался кто-то третий. На этот раз напарник пригнул зеркальце, но вместо того чтобы найти глазами этого третьего, посмотрел на свое отражение, поправил волосы и зевнул.

Уже стемнело. Напарник включил фары. Замерзшая дорога заискрилась, словно вспыхнула голубым пламенем. Автобус замолчал. Все спали. Водитель сидел рядом со своим

напарником и думал о том, что всех этих пассажиров где-то ждут какие-то люди, что именно они, его пассажиры, привезут им Новый год. Старый крестьянин, сидевший с узелком в последнем ряду, наверное, спешит к сыну-студенту или внукам. Его узелок так и благоухает Новым годом: ароматом теста и фруктов.

Автобус скользил вперед, выхватывая из темноты дорогу, отрезок за отрезком. Каждый из этих людей дед-мороз для какого-то одного дома. Их ждут. Все мы деды-морозы, всех нас кто-то ждет. Даже этот малыш, что спит на коленях матери. Он тоже дед-мороз. Он сам себе улыбнулся. Улыбнулся тому, что все они деды-морозы, даже ребенок. Деда-морозы спали. Только они бодрствовали. Чтоб развлечь друга, он заговорил:

— Помнишь того пассажира с сердечным приступом, здорово мы его довезли за час в больницу.

— Я его видел на прошлой неделе, говорит, все в порядке, сердце больше не беспокоит.

— Хорошо, что в автобусе нет больных.

— И все-таки надо спешить, стоит спешить, ведь нас ждет радость.

Фары автобуса теперь разрывали мрак еще быстрее, а ночь, пустившись вдогонку, вновь зашивала его. Водитель посмотрел на часы. Времени оставалось мало. Он показал товарищу на стрелки часов, и тот снова прибавил скорость. Холодный ветер со звоном невидимыми песчинками ударил в никелевый нос автобуса.

Где-то там, вдали, полыхнул огнями город. Первый сноп света побежал навстречу и снова отступил. Справа от дороги мелькнуло освещенное окно, в глубине комнаты сверкнула огнями убранная елка. Автобус рванулся вперед и окунулся в море теплых огней. Въезжали в город.

Пассажиры проснулись.

— Не опоздали, успели, — сказал один из учителей.

— Я ведь говорил, — отозвался другой, хотя он не говорил ничего подобного. Женщина с ребенком на руках радостно заулыбалась. Водитель обернулся. "Деда-морозы доехали. Все, все приехали вовремя. Осталось развезти их по домам», — подумал он.

— Кто где живет, говорите, — обратился он к пассажирам.

— Так мы сами опоздаем, — слабо запротестовал напарник.

Сперва сказали свой адрес учителя, позже всех — мать с ребенком, она жила в другом конце города. Но напарник успокоил ее:

— Успеем, будете дома как раз вовремя.

— А вы? — спросил кто-то сзади.

— А мы встретим Новый год по другому времени земного шара.

Старик вытащил из узелка гату, бутылку водки и положил рядом с водителем.

— Водку нельзя, — пошутил напарник.

— Выпьете дома, когда будете встречать Новый год по своему времени.

Водитель посмотрел на освещенные окна, бегущие навстречу автобусу по обе стороны

дороги, и подумал о том, что зима вовсе не напоминает неживое сияние кафеля, нет, зима — это веселые огни, радость и оживленный разговор пассажиров за спиной.

Перевела Е. Алексанян

Постелите мне на кровле

Прошу вас, постелите мне на кровле.

— Вы никого не стесните, у нас много комнат, а если думаете... — хозяин дома обрывает себя на полуслове. Самолюбивым тоном сказанные слова заставляют его призадуматься, но я не даю ему обидеться от его же собственных предположений.

— Я ничего не думаю, просто-напросто хочу поспать на крыше.

Мое желание кажется теперь ему еще более странным и непонятым. Он подходит к жене, шепотом советуется с ней и с сомнением смотрит на меня.

Жена, кажется, догадывается о чем-то, улыбается и, возражая, начинает загибать на одной руке свои полные, маленькие пальцы.

— Во-первых, солнце рано согревает кровлю, потом — что скажут соседи... село рано пробуждается, коровы мычат, петухи кричат... И потом, как будете одеваться утром у всех на виду?

Доводов хватает, чтобы образовался маленький белый кулачок. Я восклицаю:

— Значит, стадо проходит на выгон мимо вашего дома? И петухи, как в старину, кричат на рассвете?

Хозяйка удивляется:

— Когда это петухи не кричали по утрам?

Я шучу не к месту:

— Кто знает, может, в вашем селе нет петухов?

Хозяйка удивляется еще больше:

— А почему их не должно быть?

Я что-то бормочу, потом совсем теряюсь и умолкаю. Хозяева с сожалением смотрят на меня.

— Я не так хотел сказать.

Хозяева, сельские учителя, переглядываются, и муж берется помочь растерявшемуся «ученику».

— А не так, так по-другому и скажите.

Я соглашаюсь:

— Ради бога, не поймите меня превратно. Конечно, я знаю, что петухи кричат на рассвете, знаю также, что петухи были и всегда будут на белом свете, но хочу еще и еще раз услышать

все это... Однажды один крестьянин, — начинаю я издалека, — много лет живший в городе, встречает своего земляка и спрашивает его: «А что, солнце еще всходит из-за черной горы?» Его земляк не удивляется, — я подчеркиваю слово не удивляется, — и отвечает: «Да!»

Теперь хозяева сами теряются, догадываясь, о чем я говорю, но делают вид, что ничего не поняли.

— Ну что ж, — наконец говорит хозяйка, — я постелю вам на кровле.

Прощаюсь с ними и выхожу во двор. Хозяин провожает меня. Смотрю на звездное небо и говорю:

— Не покрывайте вашу земляную кровлю жестью.

— А мы на крыше не спим. И потом, у нас нет денег на жесть.

— Весной что может быть обаятельней зеленой цветущей крыши?

Хозяин считает меня совершенным чудачком и возражает:

— Какое обаяние? Живете в городе, пользуетесь всеми удобствами...

Он рассказывает, что и они когда-то жили в городе и, возможно, что они больше горожане, чем кто-либо другой. Потом возмущается, негодует, а я думаю: «Да, для того чтобы любить деревню, нужно быть в какой-то мере горожанином, а чтобы любить город — крестьянином» — и говорю:

— Пустое все это, не стоит гневаться, человек везде останется человеком. Да, я хотел спросить, почему вы эту крупную, красивую кладку залили цементным раствором?

Он окончательно разочаровывается во мне и, схватив за руку, шепчет на ухо:

— Крестьяне мы, по-крестьянски и живем. Не как в городе... Если нужда у вас, то это там...

У меня нет нужды, но я иду в указанном направлении, потом сворачиваю в сторону и подхожу к выложенной базальтом стене. Рукою ошупываю кладку и как будто слышу голоса камней. На фоне темного неба вижу еще более темные силуэты осин. Они раскачиваются, шелестят и, подобно занавеси, открывают и закрывают кусочек звездного неба. Хозяин покашливает. Наверное, я задерживаюсь. Я возвращаюсь и в сопровождении хозяина поднимаюсь по деревянной лестнице на крышу. Теперь над головой только звездное небо. Хозяин не смотрит на него, прощается со мной и уходит, а я сажусь на край постели, зажигаю сигарету и, протянув руку к небу, стараюсь поместить огонек сигареты среди звезд. Получается. Руки не видно, а огонек сигареты мерцает вдаль, левее Млечного Пути, в каком-то созвездии. Я не знаю названия созвездия и осторожно перемещаю огонек в сторону Большой Медведицы. Сейчас Большая Медведица состоит не из семи, а из восьми звездочек, и склонившийся над горизонтом ковшик вобрал в себя мерцающий огонек моей сигареты. Огонек угасает. Из небесных далей возвращаю руку, подношу сигарету к губам, разжигаю ее и снова отвожу к небу. Потом глаза закрываются...

...Наша солнечная крыша зеленеет. В траве мелькают маленькие беленькие цветочки, и качается на ветру мак, похожий на красный петушиный гребешок. Мать заставляет повторять за собой весенний стишок:

— Лаглаго[1] хаджи Беко,

Откель идешь?

— С тех черных гор.

— Что же несешь?

— Сверток мылка.

— Кому несешь?

— Мамке Суска.

— Пошто несешь?

— Платок постирать,

Голову покрыть —

И станет весна.

Запрокинув голову, я выговариваю стишок, и мне кажется, что вижу этого Лаглаго хаджи Беко. Встаю на крышу и, обращаясь ко всему свету, снова выговариваю стишок. Отец раздражается:

— Ну началось, целый день будет повторять. Займись делом, покатай трамбовку, чтоб земля затвердела.

На кровле есть цилиндрический камень. Я должен сминать им траву и цветы.

Не делаю этого, и отец сердито говорит:

— Не выйдет из тебя работник!

— Слушай, что ты воюешь с ребенком, — говорит мать, — любишь работать, сам и катай этот камень.

В ответ на это отец еще больше распаляется:

— Ну, если я не работаю, то как же ты живешь?

— Как Лаглаго хаджи Беко. — Мать говорит все это без всякой злости, но отец гневно швыряет лопату и грозит, что уедет в город, нас всех заберет с собой, и тогда мы пойдем, что значит жить на одну зарплату.

В город уезжаем на телеге. Моя собака бежит за нами, потом задерживается в узенькой улочке у лавки мясника. Окликаю ее, но она не слышит. Городские щенки окружают ее. Она удивленно обнюхивает их, а потом, понутив голову, бежит обратно в деревню.

Хочу спрыгнуть с телеги и бежать за ней, но кто-то держит меня, я вырываюсь и открываю глаза,

В небе горят еще звезды, и петух кричит где-то рядом. Все спуталось. Не знаю, детство ли мое продолжается, или что другое происходит. Слышу мычание коров и, вспомнив хозяйку, поспешно одеваюсь и протягиваю руку к пачке сигарет. Рассвело, и я вижу рядом с собой трамбовку. Я так и не научился катать ее.

Хозяева уже проснулись. Муж поднимается наверх, здоровается и, подойдя к моей постели, задумчиво останавливается. Заснув ночью, я уронил горящую сигарету и спалил кусочек одеяла. Хозяин смотрит вопросительно, а мне хочется сказать, что это звездочка упала на мою постель, а не сигарета, но я боюсь показаться совершенным сумасбродом и виновато улыбаюсь.

— Плохая привычка. Вдруг сожжете себя.

— Если не сжег уже.

Я жду, что хозяин спросит, как мне спалось на крыше, но он молчит.

— Чем я хуже других, — вдруг говорит он, — хочу переехать в город. Пусть не думают, что мы жить не умеем.

Я не знаю, чем он так удручен, на кого сердится?

— А я хочу вернуться в деревню.

— Все вы так говорите. Не надо утешать. У нас есть все, и отсюда до города всего час езды. А что кровля не покрыта до сих пор — и это будет когда-нибудь.

— Ради бога, не надо этого делать, — прошу я, а он не слышит меня, не слышит крика петухов, мычания коров, шороха осин.

А сегодня я в своей городской квартире один, один-одинешенек. Над моим потолком чужие потолки, и над ними железная крыша, с которой не посмотришь на звезды. Я гашу свет в комнате и протягиваю горящую сигарету в темноту. Рука и стены перестают существовать, лишь огонечек сигареты горит и мерцает, как яркая звездочка. Вот сейчас, наверное, отвлекут меня телефонные звонки, а я все вспоминаю прошедшие годы, когда спал на нашей кровле и над головой было звездное небо.

Перевела Н. Манукян

Пришли и ушли

- Видишь линию гор?

С кровати виден только подоконник.

— Подложите еще подушку...

Белая подушка как заснеженная вершина над цветастым подножием одеяла, и с этой высоты ему видно все. Наволочка пахла снегом, и больному вдруг вспомнилось, как мать заносила с балкона одеревенелые от стужи простыни, наполнявшие комнату запахом арбуза.

— Кардиограмма твоя похожа на линию гор.

— И у гор есть сердце, — еле слышно прошептал больной.

— И у гор...

Тик-так, тик... Вязкая тина безмолвия медленно разбухала, разрасталась, и лишь где-то в самой его глубине еще жило время: тик-так, тик...

— Я слышу...

Он так и не досказал, что слышит: не хватало воздуха, цепенели губы.

Линия гор, то взмывающая кверху, то срывающаяся вниз, вдруг рухнула, затрепетав. Тик-так, тик... То колотилось сердце гор. Он вытянул руку и ухватился за металлический прут в изголовье кровати. Вот он — пульс одной из гор. Перестав метаться, отыскал затуманившимся взглядом серебряный прямоугольник окна и прикрыл веки.

Там, под закрытыми веками, все было ясно.

Он погладил ладонью вершины протянувшихся перед ним гор. Как странно — горы ему по поясу, а он продолжает подниматься...

Одной рукой он сжимал металлический прут, другой шарил в складках одеяла.

Доктору был знаком этот час — час, когда подводят итоги... И он распорядился:

— Выйдите из комнаты.

— Но он хочет что-то сказать!

— Нет, он уходит, — вырвалось у доктора, и потому, что его слова могли быть поняты так, как их и следовало бы понять, он тут же прибавил: — Куда-то идет во сне.

А больной поднимался все выше и выше. Горы были уже высокими, а сам он превратился в маленькую точку на круче, и точка эта двигалась. Он устал и остановился передохнуть, ко стоило остановиться, как картина тотчас изменилась.

...Словно подхваченный дыханием ветра сизо-красный осенний лист, взад и вперед взлетала маслбоек, и бабушка вынимала из нее золотые комки масла, золотые шары, хранящие следы пальцев.

На дворе шелестели листья персикового дерева: «Мы укрываем вас, а вы тайком целуетесь с солнцем... Какой стыд!» Персики краснели от стыда и падали с дерева.

Была осень. Время, когда все идет под гору: слетают на землю листья, срываются с веток плоды, спускаются с горных лугов стада и отары.

Из дальней глубины неба доносилось курлыканье улетающих журавлей. Связки красного перца, растянутые от одного столба балкона к другому, напоминали кораллы, а тыквы на плоских деревенских кровлях казались солнцами. Было синее-пресинее небо, и хотелось, чтобы синева эта продержалась до ночи и чтобы на ней высыпали звезды — большие и маленькие.

К ручью пригнул голову каурый конь. Скатываются с темных губ капли, от них по воде разбегаются круги. Во дворе копошатся куры, белые с красными гребешками, и бегают щенки.

— Мохнатый!

— Снится ему что-то...

— Собачку у нас так звали, видно, вспомнил.

— Снится ему что-то... — повторил доктор. — Пожалуйста, выйдите все.

А он видел себя маленьким мальчиком в коротких штанишках. Теперь его «я» раздвоилось:

одно стремилось в горы, другое, детское, — остановилось на полдороге. Маленький мальчик с худыми ногами никуда не спешил, никуда не поднимался. И ему пришлось остаться с мальчиком. Странно сопутствовать себе самому... Но мальчик потребовал — и он вернулся в старый околоток, покинутый им много лет назад.

...Они жили на узкой и грязной улочке гробовщиков, которая упиралась во двор гостиницы «Европа».

В первом доме — полуподвальная закусовая, где с утра до вечера заросшие щетиной родичи умерших пьют за упокой их души. Рядом с закусовой выстроились лавки, где торгуют жестяными венками и бумажными цветами; дальше — мастерские гробовщиков, у дверей которых, будто напоминая о суетности жизни, выставлены детские гробики. Между лавками и мастерскими втиснут побеленный известью домик бродячего актера-кукольника Петроса, того самого, у которого черные как смоль волосы, густые брови и малюсенькие быстрые глазки. Носит Петрос сюртук из серого сукна, а на сорочке — галстук бабочкой.

Детская коляска на этой улице все равно что вызов судьбе. Вы только представьте себе: по обе стороны улицы выстроились гробы, шныряют агенты похоронного бюро, слоняются музыканты из похоронных оркестров и певцы, которые всегда поют одни и те же жалобные песни: «Мама моя, труженица...», «Несчастливым я жил, несчастным и умер...», «Приходите, дружки, на могилу мою...» И вдруг торжественная коляска со спящим или бодрствующим младенцем. Отец или мать младенца везут его в парк — к жизни, солнцу, смеху и радости...

Но для своего малыша бродячий актер-кукольник Петрос приобрел коляску вовсе не затем, чтобы нарушить гармонию улицы гробовщиков: просто коляски тогда только появились, а он был ярым сторонником всяких новшеств.

У Петроса три дочки — шести, четырех и трех лет — и новорожденный сынок. Когда отец возвращается домой, девчурки поднимают наполненные водой чашки, чокаются и поют «Шотландскую застольную» Бетховена:

Постой, выпьем, ей-богу, еще.

Бетси, нам грогу стакан!

Последний в дорогу, —

Бездельник, кто с нами не пьет!

Жена его — щуплая, с воспаленными глазами — робко сетует:

— Был бы сахар — чаю дала бы детям. Приходится водой поить...

— Велика важность — «сахару нет!»! Вот когда умру, люди скажут: смотрите, это дочки основателя первого кукольного театра! И никто не вспомнит, Гаяне, что у нас не бывало сахара.

— А может, и вспомнят... — нерешительно возражает жена.

— Может быть, — задумчиво соглашается бродячий актер. — Но разве люди творят для того, чтобы богато жить или чтобы их вспоминали после смерти? Ведь умер же от чахотки знаменитый артист...

Он, как и всегда в этом месте, обращивается к девчуркам, и помощь не заставляет себя ждать.

— Адамян! — хором подсказывают они.

— В общей могиле для бедняков был похоронен прославленный живописец...

— Рембрандт! — договаривают девочки.

— Затравленный, без вести пропал...

— Абовян!

— Вот видишь, жена, и они это понимают. Для того чтобы быть настоящим человеком, не нужен сахар! — торжествующе заключает Петрос, и его бас присоединяется к детским дискантам:

Постой, выпьем, ей-богу, еще.

Бетси, нам грогу стакан!

Последний в дорогу, —

Бездельник, кто с нами не пьет!

Когда-то и он певал с ними «Застольную» Бетховена, и сейчас его детство вторит песенке дочерей бродячего актера:

Стакан последний в дорогу —

Бездельник, кто с нами не пьет!

— Он часто поет эту песню, — говорит кто-то из родных, — особенно любит одну строку:

Кто врет, что мы, брат, пьяны...

Губы больного чуть шевелятся — он повторяет слова последней строки, одни слова без мелодии:

Стакан последний в дорогу...

Вокруг него пляшут куклы Петроса, куклы с глазами во все лицо. А Петрос катит по улице гробовщиков новенькую колясочку, в коляске малыш, и малыш этот не кто иной, как он сам...

Этот малыш — он сам, это его везет в колясочке Петрос, и, глядя на гробовщиков, на агентов похоронного бюро, на музыкантов и певцов из похоронных оркестров, он звонко смеется, а бродячий актер монотонно напевает:

— Мальчик, мальчик, тик-так, тик!

Тик-так, тик... Это колотится сердце гор, а он поет:

Стакан последний в дорогу...

«Последний свой путь люди проходят в одиночестве, взяв с собой все то, что могут взять, а сердце людское — это коричневая котомка, в которой...» Мысли врача вдруг прерываются. Теперь он видит больного где-то далеко-далеко, словно смотрит в перевернутый бинокль. Слишком поздно. Вот он уходит, и никто не в силах отозвать его обратно. Вот если б дали знать вовремя — может, все сложилось бы по-иному, даже, может быть, его удалось бы спасти, но... Да, всегда что-то или кто-то опаздывает, а ведь люди и придумали время, чтобы один почувствовал смысл опоздания, другой — опережения, иначе каждый будет считать, что никогда никуда не опаздывал и никогда ничего не опережал: так и будут жить — без времени, как живут солнечные часы, когда их покрывает тень! Солнечные часы не теряют тьмы и тени, ночь не отсчитывает на них часов. Время умирает, когда нет отражения, когда ты не видишь себя сам, когда у тебя нет тени: таковы солнечные часы, и, по-видимому, истина — в этом...

А вот больной еще чувствует время. В его душе есть тени, похожие на разорванные знамена, неровные, удлинняющиеся тени, которые врезаются в солнечное золото, и есть вечер, охваченный огнем и пылающий последними лучами...

Стакан последний в дорогу...

Сильный порыв ветра разбил вдребезги стекла в открытой створке окна. А вот с закрытыми окнами ничего не случается... ничего не случается... Веки доктора снова тяжелеют. Сейчас он не в этой маленькой, узкой комнате, у кровати больного, сейчас он сам поднимается в горы, и рядом шагает сельский врач.

— Мы вас ждали только завтра, а вы...

— Пришел сегодня.

— Хоть бы известили. Ведь если бы я не встретил вас случайно...

— Дошел бы один.

И спутник умолкает, словно чувствует, что доктору хочется пройти оставшийся путь молча, ибо ему хорошо известно, что означает зигзаг, вычерченный сердцем на ленте и похожий на зубчатую линию гор. Там, в селе, чье-то сердце ведет себя именно так, — и поэтому доктор спешит туда. «Мы вас ждали только завтра, завтра ждали... А я вот пришел сегодня».

Это «сегодня» стало для него бесконечным.

Теперь время не дробится ударами, а словно тянет на одной ноте: вчера-сегодня-завтра...

вчера-сегодня-завтра...

В маленькой, узкой комнате сейчас только доктор и больной, и оба они в пути: один поднимается в горы, другой направляется в село, где сбилось с ритма человеческое сердце...

За дверью, в смежной комнате, собрались родные и друзья больного. Они курили и ждали чуда, и каждый думал об ушедших товарищах и знакомых, вспоминал прошлое.

Больной все поднимается в горы, с ним идут и те, что в соседней комнате ждут чуда, и те, что давно уже поднялись в горы и теперь по одному выходят навстречу путнику, кивают и молча присоединяются к нему. Они рядом, здесь, в этой маленькой, узкой комнате, и он говорит им: «Но вы совсем не изменились — ни одного седого волоска, ни одной морщинки!» Друзья улыбаются, не отвечая. «А помните нашу улицу?» Они молча переглядываются, и потом все вместе сворачивают туда, на свою старую улицу...

...Ворота с молоточками вместо звонков, прохладные сводчатые проходы. Возле ворот, на плоских камнях, сидят старухи, беседуют, и кто-то из друзей вспоминает:

— В деревнях на такие камни соль высыпают, чтобы лизали овцы.

Такие камни встречаются ему и по дороге в горы — красноватые плиты, поросшие серебристо-зеленым мохом, на одной из них сидит мать.

— Ты это куда? — удивляется она, потом достает из кармана фартука горсть соли и рассыпает по камню. — Это для овец, сейчас подойдет отара, — объясняет она.

Слышится блеяние ягнят. И вдруг он сам превращается в ягненка, маленького ягненка с коричневой шкуркой, и начинает лизать рассыпанную соль.

— Горькая она, сынок, горькая!

И впрямь — во рту горько, словно всю горечь прожитой жизни ссыпали ему на язык.

— В-о-д-ы...

Доктор смачивает лимонным соком губы больного, проверяет пульс.

— Сестра! — зовет он.

Входит сестра, доктор молча кивает на шприц.

За дверью собрались родные и друзья больного. Они ждут чуда, а больной перебирает в памяти все события прожитой жизни.

Он снова на старой улице, где их дом, и с ним его собачка, та, которую он украл из цирка. И как долго кружил он вокруг цирка, пока наконец изловчился увести эту пеструю собачку с коротким хвостом! Ни у кого не было такого славного песика, — даже у Петроса собачки не умели бегать за брошенным мячом и приносить его обратно, да и двигались они только тогда, когда были в руках Петроса.

Он в первый раз собрался в школу, и старший брат предупредил:

— Не бери собаку с собой — вымажет тебе форму, в школу не примут.

А он взял. Всю дорогу он играл с собакой и правда запачкал форму, но в школу его все-таки приняли. Школа была в конце улицы, за углом. От нее шел запах свежей краски, слышался звук колокольчика и гомон детей. Потом старшего брата увезли в далекие края, вернулся он

только через несколько лет, но песик узнал его и залился радостным лаем. А тряпичные собачки Петроса никого не узнавали и не умели лаять, если за них не лаял сам Петрос. Гав, гав, гав... со всех сторон бегут к нему собаки. Среди них есть даже тряпичные... Они окружают его с недобрый рычанием, вот-вот набросятся, но откуда-то выбегает его песик. Гав-гав-гав! — разбегаются собаки, и с ними остается только...

— Мохнатый!

Песик радостно лает — узнал хозяина, а ведь лет двадцать не видел, ровно двадцать лет!

— Мохнатый мой!

И он с сожалением вспоминает, что собирался написать о своей собаке, о бродячем кукольнике Петросе, о старой улице, на которой стоял их дом, о Ереме, который молот каменную соль в ручной мельнице, да и о себе, хотел написать, но вот не успел, не получилось. Может быть, он еще напишет... Вот поднимется в горы, дойдет до вершины, там и напишет, где начинается снежная полоса. Снежная полоса...

Губы больного шевелятся, но слов не слышно, и доктор уже почти не верит в чудо. Вот если б дали знать вовремя, если б лечащий врач поставил правильный диагноз, — тогда все могло сложиться иначе. Пульс снова взлетает и проваливается, как зубчатая линия горного хребта. А помочь — нечем.

Доктор встал, вышел в соседнюю комнату. В углу съежилась мать больного. Доктору показалось, что она очень похожа на его собственную, давно умершую мать. И впервые подумалось, что мать у него была счастливой: ведь матери не должны видеть смерти своих сыновей! Один из друзей больного подошел к доктору, поднес горящую спичку к его незажженной папиросе и спросил шепотом:

— Есть надежда?

— Ну, конечно, — услышал свой ответ доктор и сам удивился ему. Как случилось, что он ответил так? Ведь он уже перестал верить в чудо, а сейчас говорит так уверенно, словно иначе и не может быть!

Люди в комнате шепотом передали друг другу слова доктора, и девушка, стоявшая у окна, благодарно улыбнулась ему. Кто эта девушка и почему улыбается так благодарно? А вот у него самого никого нет, никого, да и сердце никуда не годится: заснет где-нибудь и не проснется, и никто не будет знать, что его уже нет. Придут утром звать к больному и тогда только узнают...

Доктор невесело улыбнулся девушке, вернулся к больному и попросил медсестру:

— Позвоните, пожалуйста, ко мне домой и скажите, чтоб не ждали. Потом позвоните в клинику: пусть подбросят еще кислородных подушек и пришлют дежурную сестру — сменить вас.

Сестра спросила, по какому номеру звонить домой, ушла.

Вернувшись, сообщила:

— Сказали, что кислород пришлют. Через два часа придет дежурная, сменит меня. Но дома у вас никого не было, не ответили на звонок.

Он и сам знал, что дома у него никого нет, но ждал чуда — такого же чуда, которое нужно было сейчас больному, и горькой показалась жизнь, в которой не бывает чудес.

— Видно, вышли куда-то.

— Хотите, позвоню еще раз?

— Спасибо, я позвоню сам.

И так как он сказал, что позвонит сам, то снова вышел в соседнюю комнату. Девушка у окна взглянула на него — и улыбнулась снова. И такой обязывающей была эта улыбка, что ему захотелось крикнуть, объяснить всем, всем, что больного спасет только чудо! Но он сдержался, молча подошел к телефону.

В ушах у него отдавались телефонные гудки, идущие из безлюдной квартиры. Вот так звучит звонок в опустевшей на время каникул школе, звонок, который никого не зовет и никого не отпускает домой. Чуда не случилось — никто не отозвался, и он отошел от телефона, украдкой взглянув на девушку. Ее лицо показалось странно знакомым, будто он где-то встречался с ней, хоть и не припомнить — где. Переступая порог комнаты, он еще раз оглянулся.

В комнате больного пахло лекарствами. Так пахнет всегда там, где есть больной, и он давно привык к этому запаху, но сейчас ему почему-то стало не по себе. На улице воздух, свежесть, а здесь душный запах лекарств. Сестра промыла шприц и собралась уходить. Доктор опустил в кресло и стал думать о девушке в соседней комнате.

Больной прощался с теми, кого любил, чтобы без них подняться в горы. На узкой улочке осталась его первая любовь. Первая его любовь — маленькая девочка... Перед домом, в котором она жила, тоже лежал плоский камень. Мальчишки, садились на этот камень и по очереди рассказывали разные истории. А девочка слушала, перегнувшись через подоконник, смеялась, если рассказ был веселым, и грустила, если был печальным. Он рассказывал больше всех, и всегда грустные истории. Потом он полюбил другую, после той — еще одну и, наконец, ее...

Стакан последний, Бетси, —

Бездельник, кто с нами не пьет!

Доктор пристально взглянул на губы больного. «Будто повторяет чье-то имя...» — мелькнуло в голове, и стало горько, что у него самого нет заветного имени, нет ничего, ничего! Он снова вышел в другую комнату. Народу в ней стало заметно меньше. В углу ссутулилась мать больного. Та девушка сидела у окна. Доктор быстро подошел к телефону, и, так как звонить ему было некуда, он набрал номер своего телефона. Долгие гудки, и никакого ответа... Как бездушны стены, картины, книги, все вещи — ведь он звонит им, чтоб не чувствовать одиночества! Он опустил трубку и оглянулся. Девушка улыбнулась ему. Доктор подошел к ней и тихо спросил:

— Вы, вероятно...

— Нет!

Но почему она отвечает «нет», не дав ему договорить? И все же он доволен, что она ответила так. Есть, значит, человек, который может улыбаться ему, — именно ему, а не кому-то другому! Он молча вернулся к больному. И снова в комнате были два человека — доктор и больной.

Беззвучно шевеля губами, больной говорил с кем-то, говорил без конца. Жизнь, которую он прожил, и та, которую он еще должен был прожить, проходила сейчас перед его глазами. И пока он шел в гору, волосы у него поседели, он состарился, мирно состарился. Старость, которой не суждено ему достичь...

— Сколько тебе лет?

— Столько же, сколько и вам.

— Час нашего рождения и смерти неизвестен. Ведь мы — горы...

Он протягивает руку и гладит вершины гор, — они ему по пояс.

— Но я — тоже гора! — возражает он. И начинает расти.

Голова у него повита облаками. Неизвестны ни час его рождения, ни смерти, нет у него ни начала и ни конца, и старая улочка вьется у его ног, далеко внизу, а на этой улочке живут его детство, юность и старость, которой он так и не достиг...

В комнате тихо, и доктор слушает тишину, сидя у постели больного. Он знает, что ничем не может помочь больному, и ему хочется быть там, в соседней комнате, с теми, кто ждет. День давно погас, и вечер перешел в ночь. В эту пору он обычно выходит из дому и бродит один по улицам города. Прохожих все меньше, меньше, а он все шагает, все надеется, что еще встретится ему кто-то, такой же одинокий, как он сам, и улыбнется или заговорит с ним. И это ожидание похоже на игру. Вот и сейчас он шагает по улице, хотя на самом деле сидит у постели больного. И больной тоже не здесь, а где-то в другом месте, куда доктору не пройти.

— Разрешите...

— Пожалуйста!

Он складывает ладони лодочкой, и свет спички просачивается в щель между сжатыми пальцами.

Женщина с минуту вглядывается в хранящие горстку тепла руки, но, вспомнив о догорающей спичке, нагибается и окунает конец папиросы в пламя.

— Благодарю вас.

— Не стоит.

И расстаются. Безмолвие ночной улицы отзывается эхом на шаги удаляющейся женщины. Потом замолкает и эхо, и он снова слышит лишь шум своих шагов. Чудится, кто-то неспешно и настойчиво стучит во все запертые двери: так стучится вернувшийся после долгого отсутствия...

Ни одного освещенного окна, ни одного больного или страдающего бессонницей во всем квартале. Все спят, а он поднимается по безлюдной улице, к магазинам, где есть сторожа, которым не положено спать, к магазинам, возле которых горят по ночам маленькие костры.

— Разрешите...

— Пожалуйста!

Он тянется рукой к спичечному коробку. В дверях стоит пришедшая на дежурство сестра, и доктор растерянно улыбается.

— Случается... — говорит он в свое оправдание, говорит — и сердится на себя за попытку

оправдаться. — Устал, унесся мыслями куда-то. С вами не случилось?

— Случалось.

— Дайте ему кислород. Я на минутку выйду позвонить, сейчас же вернусь.

— Но ведь поздно.

— Ничего, меня ждут дома.

Он вышел в соседнюю комнату, обвел ее глазами.

Девушка сидела все там же, под окном. Почему-то поздоровался с нею, словно уже наступило утро и нужно было поздороваться. Улыбка у девушки была чуть удивленной.

— Простите, вы, наверно...

— Нет, я ее подруга. Ее нет — не может видеть, как он страдает.

— А он не страдает.

— Значит, есть надежда?!

— Возможно...

Он не собирался говорить этого, но так получилось, и девушка с благодарностью посмотрела на него.

— Простите меня...

— Пожалуйста!

Он быстро направился к аппарату, словно нельзя было откладывать разговор, набрал номер своего телефона и замер. Никто не откликнулся на звонок — ни книги, ни стены, ни картины на стенах. Он положил трубку и с минуту стоял неподвижно. Теперь у него нет больше предлога оставаться в этой комнате. А ему так хотелось остаться, сесть и вместе со всеми ждать чуда, которое случится и без него, если... если случится. Он обернулся к девушке и попросил:

— Если можно, сварите для меня чашку кофе.

Он не заснул бы и без кофе, но эти слова сами вырвались у него.

— Я сейчас... — девушка вскочила с места и побежала к кухне.

Доктор снова проверил пульс у больного, распорядился дать еще кислороду и, когда сестра выполнила распоряжение, знаком попросил оставить его наедине с больным.

Последний стакан в дорогу, —

Бездельник, кто с нами не пьет...

Больной шептал что-то, и, хотя слов нельзя было разобрать, доктору показалось, что сегодня не случится то, чего он боялся, и что больной увидит еще один рассвет. А потом... а потом может произойти чудо!

Дверь осторожно открыли. Вошла девушка с чашечкой кофе в руке.

— Как он? — шепнула она еле слышно.

— Сейчас лучше.

— Спасибо!

Доктор смутился. За что его благодарят? Вот если б сообщили своевременно, может быть, он и сумел бы помочь. А сейчас он уже бессилён и благодарить его не за что. Он собирался сказать это, но девушка осторожно поставила чашку на подоконник и вышла.

Он снова проверил пульс. Теперь пульс был ритмичен и напоминал доносящийся издали бой маленьких барабанов, слабый, еле слышный, но равномерный.

Вспомнив о стынувшем кофе, доктор подошел к подоконнику. В чашке, на густой маслянистой поверхности, отражался кусок звездного неба, и доктору показалось, что вместе с черным кофе он выпил и ночные звезды, мерцающие далеко-далеко в небе.

С пустой чашкой в руке он вышел в другую комнату. Девушка поднялась с места, пошла навстречу. Она улыбалась. Улыбнулся и он. Теперь ему верилось в то, что больной встретит этот рассвет, и этот, и еще много других рассветов. Он попробует еще раз позвонить домой. А из дому ему ответят стены, картины, книги. И женский голос скажет:

— Жду тебя...

Перевела А. Тадеосян

Тоска

Ни свет ни заря уходят женщины за корнями, и слышится им вслед тусклый голос старухи:

— Мою долю не забудьте...

Уходят женщины, удаляются. Сейчас они на гребне холма. Бледная линия горизонта распласталась у их ног, а небо выгнулось гигантской дугой и, вобрав в себя силуэты женщин, опрокидывается на крыши деревни.

Там, на востоке, небо бледно, бесцветно, а здесь, над крышами, оно густое, полное мрака и звезд. Я смотрю вслед уходящим и думаю о том, что за корнями ушли одни женщины, что нет среди них мужчин. Я думаю об этом и вдруг замечаю на вершине холма маленького мальчика. Он сам выдает себя. Отделившись от женщин, он поспешно спускает штанишки и мгновенно застывает, выставив живот навстречу небу. И вдруг вспыхивает среди звезд тонкая янтарная струйка.

Старуха спрашивает:

— А ты ходил с матерью за корнями?

Я улыбаюсь:

— Ходил.

— Ну, конечно... Малых ребят они берут с собой, ведь малыши-то ничего не поймут из их

разговоров. Кореньев насобирают, с девчонками порезвятся...

Не слышу я ничего... Бубнит что-то старуха, а вокруг меня все затопляется белыми слепящими волнами, и видится мне мое детство сквозь эту пелену, словно белыми красками на белой бумаге нарисованная картина. Я напрягаюсь, я хочу увидеть то, чего никогда уже не будет. Вот мать легонько стряхивает со светлого корня сибеха слипшиеся комочки земли и кладет его в карман передника. Я собираю коренья, потом вдруг, бросив собранное на землю, поспешно спускаю штанишки и выпячиваю живот навстречу небу... И снова накатываются белые волны и затопляют это белое небо, этот белый рисунок, и я вижу свою мать среди женщин, уходящих за кореньями. Потом я хочу бежать, догнать ее и говорю себе: «Твоя мать там, догони ее, догонишь — будешь неразлучен с нею, беги, беги!» Сердце мое, если невозможное стало возможным и я вновь увидел бы мать свою, выдержало бы ты это?

Мучаю я свое сердце, и оно от волнения задыхается, и в виски мои бьет дробь далекого барабана, и, чтобы не упасть, я хватаюсь за косяк двери.

А старуха говорит:

— Раньше и я ходила собирать коренья. Вот так, чуть свет вставала, шла собирать коренья, а теперь выпрашиваю долю. Скоро меня не будет, выпрашивающих долю не будет. А есть у тебя мать, жива она?

Как сказать, что мать моя не жива, ведь вот только сейчас шла она за кореньями, и если бы догнал я ее, был бы сейчас с нею.

— Нет ее.

— Царство ей небесное.

«Будь благословенна, мать!» — говорю я себе.

— А отец жив?

Среди уходящих за кореньями не бывает мужчин, они еще раньше, затемно уходят в поле. Отец мой не был земледельцем, он работал в городе и приходил домой лишь в субботние вечера, а я ждал его, сидя на камне у порога дома. Отец приносил из города сахарных петушков, они молча таяли на моих губах.

Где-то рядом и издалека, со всех четырех сторон, раздаются крики петухов. Кричат и кричат они хриплыми, и сиплыми, и звонкими голосами.

— Нет его.

— Царство ему небесное! — говорит старуха и горько улыбается. — Все мы сироты. И я тоже сирота. Люди думают, что только дети бывают сиротами, а кто же мы, если не сироты, — ни матери нет у нас, ни отца.

Один лишь зуб во рту у старухи, покосившийся, как древний хачкар[2], зуб. Смотрю я, смотрю, и кажется мне, что вот возьмет да и рухнет сейчас этот хачкар с ужасающим грохотом, как рушились колонны наших древних храмов. Но старуха вдруг плотно сжимает свои тонкие губы, зуб исчезает, и я успокаиваюсь. Потом тишина затвердевает, сжимается, превращается в легкий пористый камень, и я облакачиваюсь об эту тишину.

— Знаешь, — вдруг говорю я старухе, — моя мать была твоих лет, когда...

— А моя мать была твоих лет! — сухо говорит старуха.

Я растерянно оглядываюсь по сторонам. Рождается день. День рождается, и он тоже уже сирота с первых же мгновений своей жизни, ибо рождается он от умирающей ночи. Но он весел, потому что не знает еще о своем сиротстве. А к вечеру, когда исчерпает он всего себя, когда настанет час его смерти, поймет он все, поникнет, загрустит и, умирая, родит ночь-сироту, и потом ночь родит сироту-день, и так без конца.

— Доброе утро, сынок.

— Доброе утро, мать. Неужели я не поздоровался?

— За разговором позабыл.

Петухи все еще кричат, а звезды на западе уже умолкли. Уходящие за кореньями женщины скрываются за холмом. Я протягиваю руку, хочу прикрыть ворота, чтобы потом войти в дом и подумать обо всем этом, но старуха останавливает меня:

— Не закрывай ворота, ворота надо держать открытыми.

— Почему?

— Пора уже знать... Не сегодня-завтра спустится господь на землю, и, если двери твои будут закрыты, уйдет господь, пройдет мимо.

— Старая легенда.

— Очень старая.

— Вот годы идут и идут, а он все не приходит.

— Воля божья. Никто не ведает, когда он придет, сегодня, завтра или через тысячу лет. Если открытыми держать двери, несчастья и беды войдут в твой дом. А двери нельзя закрывать, закроешь — господь вдруг явится и уйдет, и ты не увидишь его.

Старуха умолкает, потом поворачивается, идет во двор, а я остаюсь у незапертых ворот, и припевом песни кружатся в голове слова старухи. Я думаю о закрытых дверях моего дома, о всех других закрытых дверях, за которыми прячутся от бед и несчастий, потом думаю о моей родине, о ее гостеприимно распахнутых дверях и остаюсь стоять в воротах, остаюсь в ожидании женщин, ушедших за кореньями, чтобы не прозевать мою мать и мое детство, когда они вернуться домой.

Я жду, я жду их долго и говорю себе: «Не закрывай, не закрывай сердце свое, кто знает, когда они придут, сегодня, завтра или через тысячу лет...»

Двери открыты. Криками петухов и блеянием ягнят входит в двери деревенский рассвет. Я облокачиваюсь о косяк двери и жду, жду ушедших за кореньями женщин, жду мать свою, а над моей головой, в ладони неба, лежит и словно дремлет зеленая ветвь молодого дерева. Я жду.

Перевел Л. Бояджан

О чем рассказала крыша

Крыши тоже курят, только никто не разжигает им трубки, пока не придет зима. Срывая с деревьев пламенеющие листья, зима закидывает их на крыши домов. Огненные листья

падают в дымовые трубы, и крыши начинают куриться. Они дымят своими трубками и беседуют о жизни, небе, облаках и людях.

Старые крыши знают много интересных историй, а молодые молча слушают их, слушают, попыхивая трубками.

Я живу в мансарде под самой крышей и потому понимаю их язык. Знаю, о чем ведет свои нескончаемые беседы много повидавшая на своем веку старая крыша с поломанными, покосившимися черепицами. Она видела, как рождались и умирали люди, женились и расходились, радовались и страдали, она испытала и гордость, и стыд, порой была надменна, порой унижалась. В трещинах между ее черепицами жили целые поколения воробьев, вили гнезда голуби и ласточки; отсюда юноши смотрели на небо и мечтали. А сейчас зима, ласточки улетели, воробьи перебрались на ветки деревьев, коты дремлют у печек, и ничто не нарушает их покоя...

Они беседуют, и я слышу, о чем рассказывает старая крыша, которая видна из моего окна. А я живу в мансарде, из моего окна можно увидеть только крыши, громоздящиеся, поднимающиеся одна над другой, дымящие своими трубками крыши домов.

И старая крыша рассказывает (это та крыша, у которой поломана черепица, а жечь по краям заржавела от старости):

— Подо мной живет Аревик (крыши так говорят о своих жильцах).

— Я ее видела? — спрашивает молодая. Она еще не покрылась ржавчиной, юноши еще не смотрели отсюда на небо, в щелях между черепицами не успели обосноваться воробьи и не свили себе гнезд ласточки.

— Ты? Нет, ты не могла ее видеть. Летом, когда Аревик играла на балконе, тебя еще не было на свете.

— Тогда рассказывай так, чтобы я ее представила, — говорит молодая крыша.

— Так вот, слушай, — начинает старая, и дым от ее трубки смешивается с дымом молодой.

— Подо мной живет Аревик; волосы у нее вьются колечками, черными, как этот дым. — И крыша выпускает из трубы густые кольца дыма. — У Аревик черные глаза и маленький, совсем крошечный носик. Она носит на голове красную крышу; да, не удивляйся, ты еще молода и не знаешь, что у людей тоже бывает крыша, непонятно только, почему летом они ее снимают. Но трубки люди курят не так, как мы... как бы тебе объяснить... — И старая крыша не смогла объяснить, как курим мы, люди.

Тогда я вынул из кармана сигарету и закурил. Она заметила это и обратилась к молодой:

— Смотри, вот как они курят. Станный этот жилец мансарды. Когда я его вижу, мне почему-то делается смешно.

Старая крыша засмеялась, засмеялась и молодая, и от их смеха дым из труб заколебался, принимая фантастические, причудливые очертания. Потом старая крыша немного помолчала и снова принялась рассказывать:

— Подо мной живет Аревик.

— Об этом ты уже сказала, — снисходительно заметила молодая.

— Она всегда рисует солнце.

— Все дети рисуют солнце, — возразила молодая. — Правда, я не знаю имен детей, которые

живут подо мной, но уверена, что и они рисуют солнце.

— Это так, — согласилась старая крыша, — но ты не знаешь, как это выглядит, да и не можешь знать, потому что всего два месяца как появилась на свет. Ты не знаешь, что дети всегда рисуют солнце, они рисуют домик, потом трубу, дым и непременно в углу большое солнце, у которого лучи расходятся во все стороны. Они рисуют солнце даже тогда, когда изображают на рисунке зиму или дождливый день, а вот взрослые не рисуют солнца. Этот человек из мансарды никогда не рисует солнца, хотя он и художник, а если и рисует, то только закат. Каждый раз, когда я его вижу, мне становится смешно: неужели он не замечает солнечных крыш, ведь на них не бывает тени, крыши всегда под солнцем. Лучше быть опаленным солнцем, чем бесцветно прозябать в тени.

Старая крыша снова засмеялась, засмеялась и молодая, и от их смеха клубы дыма всколыхнулись, заколебались, принимая фантастические, причудливые очертания.

И я невольно улыбнулся, потом задумался над тем, что сказала крыша: да, лучше быть опаленным солнцем, чем бесцветно прозябать в тени. А старая крыша продолжала свой рассказ:

— Взрослые не всегда рисуют солнце, дети рисуют только солнце. Недавно я через щель заглянула в квартиру Аревик. Со всех стен сияли солнца, нарисованные Аревик; здесь были солнца всех цветов — оранжевые, золотистые, серебристые, синие, зеленые, желтые, потом были солнца всех цветов радуги, а на одном листке бумаги было нарисовано несколько солнц и дети; вместо воздушного шарика каждый держал за лучик солнце. Так много солнца было в этой комнате, что даже мои привыкшие к свету глаза не выдержали такого ослепительного сияния, и я невольно зажмурилась.

— Синие солнца, солнца всех цветов радуги! — удивленно прошептала молодая крыша.

— Да, всех цветов. Ты еще молода и мало еще видела солнце, солнце еще не опалило тебя, ты не знаешь, что оно бывает всех цветов, ты не знаешь, что, если дети не будут рисовать солнце, весна не придет, не вернуться ласточки, не сошьют себе гнездо голуби... Посмотри, как самонадеян жилец из мансарды, наверное, ему кажется, что он принесет весну. Эх, дорогая, смешно, очень смешно. Если дети не будут рисовать солнце, весна не придет, слышишь ты, скучный человек из мансарды, весна не придет.

Старая крыша засмеялась, засмеялась и молодая, и от их смеха снова всколыхнулись, заколебались клубы дыма, смешались в фантастических, причудливых сочетаниях. Это, наверное, весенний теплый ветер смешал клубы дыма, и крыши смеялись, роняя свои прозрачные сосульки.

Перевела Е. Алексанян

Адамы

Много написано о последней войне, много героического и печального, и же сейчас хочу рассказать об одной забавной истории, которая случилась на Кавказе летом 1942 года.

Наша рота расположилась неподалеку от небольшого прибрежного городка, который лениво разлегся на холмах вдоль серповидного пляжа, и, гордо, повернувшись лицом к морю, не обращал на нас никакого внимания.

Нас, героев этой истории, было человек десять — все, что осталось за два года войны от

взвода. Одежда наша была основательно потрепана во фронтовых передрягах, а появиться в городе в дырявых галифе мы не решались.

В тот день, рассевшись, как обычно, в тени на опушке леса, мы, почесываясь, мечтали о разных городских прелестях. Некоторые до войны бывали в этом городке и теперь рассказывали о его кинотеатрах с пестрой рекламой и о городских базарах, заваленных яблоками, грушами, инжиром... да и чего там только не было.

Кто-то вспомнил о мороженом.

Мороженое. Огонь войны... ледяное мороженое!

Разговор уже пошел о чем-то другом, как вдруг один паренек мечтательно сказал:

— Эх, потанцевать бы! В городе и сейчас, наверно, танцы бывают. И танго танцуют, и фокстрот, и румбу.

Мы переглянулись. В наступившей тишине один из нас, бывший музыкант, — мы тогда все были бывшими, — стал насвистывать мелодию знакомого фокстрота. А все остальные, будто сговорившись, разбились на пары и начали танцевать, назло городу и всем его обитателям.

— На войне парни всегда танцуют с парнями, а девушки с девушками, — промолвил бывший писатель, который впоследствии рассказал о войне много печальных и героических историй, оставив на мою долю разве что эту, смешную.

Мы подумали, что, вероятно, были бы желанными гостями в этом городе, если бы... Но ведь не пойдешь в город в таких драных галифе!

— Надо же что-нибудь придумать, ребята, — сказал паренек, который первым вспомнил о танцах. В голосе у него было столько мольбы, что музыкант сочувственно пошутил:

— Так это очень просто. Для чего же существуют фиговые листья?

Танцующие остановились.

— А ведь это мысль. Почему бы не попробовать? — подхватил писатель.

Спустя несколько минут мы уже были в лесу. Надо было видеть, как серьезно и деловито прореживали мы фиговые деревья. Когда листьев оказалось достаточно, началось великое преображение. Пришпиливали, приклеивали, пришивали...

Через полчаса мы были готовы к покорению города. Кто-то дал команду построиться, и, провожаемые одобрительными замечаниями всей роты, мы двинулись вперед.

Сверкая свежей зеленью заплат, мы входили в городок.

— Адамы идут!

Воскликнувший это остряк и не подозревал, как прочно прилепится к нам это прозвище.

— Да, война штука сложная, — сказал внезапно бывший музыкант и, как бы в подтверждение своего глубокомысленного замечания, стал насвистывать какое-то забытое танго. От этой легкомысленной мелодии мы сбились с ноги и зашагали как попало, с интересом поглядывая вокруг.

Здесь все было по-старому. Были и девушки, и продавцы мороженого, и большие, разноцветные афиши кино.

Одна из них зазывала на довоенный фильм «Свинарка и пастух».

— А мне казалось, что свинарок и пастухов давно уже нет, — все солдаты, — сказал бывший писатель.

Дойдя до городской площади, мы разделились. Писатель со своими друзьями пошел в кино, двое отправились на базар, а мы с музыкантом поспешили на танцы в ближайший парк, откуда доносилась музыка.

Перед тем как разойтись, мы условились встретиться на городской площади.

— Адамы идут!

Эта весть опередила нас, и на танцплощадке раздался дружный смех.

Парней было мало. Девушки в основном танцевали с девушками, но к нашему появлению они почему-то отнеслись равнодушно.

— Вам бы с ангелами танцевать! — крикнул нам какой-то парень из местных. Он был в восторге от собственного остроумия.

— Как же случилось, браток, что ты не с нами? — поинтересовались мы в ответ.

— Я уж был и вернулся.

— Когда ж ты успел?

— Ушел было, да в тот же день и обратно.

— Ах, было ушел и обратно, — с издевкой повторили мы в один голос и двинулись к парню. Он испуганно попятился к выходу, а его подружка осталась одна. Мы воспользовались этим и стали приглашать ее, но она упорно отказывалась.

— Почему вы не хотите потанцевать с нами?

— Не хочу, и все.

— Но почему?

Девушка не ответила. Она смотрела вслед удалявшемуся парню, и музыкант, пожалев ее, решил позвать его обратно.

— Эй, парень, вернись!

Но парень не возвращался — наверно, не доверял нам, хотя у нас в этот день не было ни малейшего желания драться и портить кому-то настроение.

— Как хочешь! — крикнул ему вслед музыкант и повернулся ко мне. — Что же нам остается делать? Давай хоть с тобой потанцуем.

Сначала станцевали танго, потом румбу и фокстрот. Наконец нам это надоело. Мы просто сидели и смотрели, как танцуют другие. А когда подошло время, направились к городской площади.

— Интересно, как другие провели день, — задумчиво сказал музыкант, а потом неожиданно попросил не рассказывать о нашей неудаче. — Я когда-то был очень самолюбив, — закончил он с улыбкой.

У возвратившихся с базара был очень довольный вид. Они до отвала наелись фруктов, успели полакомиться мороженым и теперь, захлебываясь, рассказывали о проведенном дне. Их тоже повсюду встречали смехом и вслед кричали «Адамы».

Вдруг выяснилось, что один парень нигде не был. У него оторвался фиговый листик, и он дожидался нас, прилипнув к скамейке. Рассказывать ему было нечего.

— Ты бы хоть в кино сходил, там свет тушится.

— Не успел...

Скоро вернулись из кино и остальные.

На площади столпился народ и со смехом наблюдал за нашим построением.

— Адамы уходят! — крикнул кто-то из толпы, но тут же раздался другой голос:

— Приходите завтра!

Мы, не ответив, тронулись в обратный путь. Нас провожали веселым шумом.

В этом военном аду люди выдумали себе маленький рай, а мы были в нем Адамами. Адамами без Ев.

Война еще не кончилась, и мы возвращались на фронт, унося с собой эту забавную историю одного дня.

Перевел А. Михайлов

Дожливый день

Он любил дважды, давно, очень давно, и обе любви сейчас стали песней.

За окном шел дождь, а он, положив руки в карманы брюк и насвистывая, ходил из одной комнаты в другую. В карманах штанов валялись пуговицы, которые нужно было пришить, но он не пришивал их, и рубашка не застегивалась. Он прохаживался с открытой грудью, насвистывал песню своей первой любви, приходившую к нему всегда вместе с дождем.

Тогда он был еще юношей, в кино шел фильм «Под крышами Парижа». Все насвистывали песенку «Мой Париж». Он также насвистывал ее и любил девушку со вздернутым носиком, тонкими, длинными руками и розовым бантом в волосах, жившую на их улице.

— Идет, идет! — кричал с перекрестка его друг, следивший за появлением соседской девочки. А он поднимался по лестнице вверх, ложился на плоскую земляную крышу и с края смотрел на улицу. Из-за угла выходила девочка. Сначала появлялся ее бантик, потом она сама. Приятель, останавливая ее, здоровался с ней и говорил ей все то, о чем они заранее договорились. Он с края крыши наблюдал за ней, а его маленькое сердечко впервые отстукивало — я есть, есть я. А когда девочка скрывалась за соседними воротами, он спускался с крыши, подходил к товарищу и спрашивал:

— Что она сказала?

— Сегодня она не будет играть с нами, у нее — уроки.

А он не учил уроков, садился у порога дома и смотрел в ее окна. Потом шел домой, брал спичечный коробок и, закрепив на нем две спичечки, поджигал их. Одна спичечка — это он, другая — она. Горящие спички клонились друг к другу или же отдалялись, а он жег их снова и снова много раз.

На улице шел дождь. Он достал из кармана спички и зажег сигарету. Запах серы ощущался здесь, в комнате, вместе с воспоминаниями о забытой любви. Он опять, как в юности, достал две спички, закрепил на коробке и поджег их. Спичечки, сгорая, наклонились друг к другу, а он с горечью подумал, что сейчас ему все равно и он не огорчится, если они не наклонятся друг к другу. Сейчас это просто-напросто спички, и больше ничего.

Мать негодовала из-за исчезавших спичек, думая, что сын научился курить. А он не курил еще, просто был влюблен. В кинотеатрах шел фильм «Под крышами Парижа». Он насвистывал песенку «Мой Париж» и любил, любил безответно соседскую девочку со вздернутым носиком, тонкими, длинными руками и розовым бантом в волосах.

Он выбросил недокуренную сигарету в окно и не увидел, как она погасла под каплями дождя, не долетев до тротуара.

И опять он зашагал из комнаты в комнату, положив руки в карманы брюк.

Вторая любовь пришла со скрипичным концертом Мендельсона. Он был уже студентом. С горечью перебирая в кармане пуговицы, он решил не вспоминать маленький домик, в котором они жили, ссоры, их ребенка, войну и полную окурков пепельницу в минуты расставания.

На улице шел дождь, девушка опаздывала, а он курил сигареты одну за другой и нервничал. Зачем нужно было все рассказывать? Сейчас он уже не мог насвистывать песенку «Мой Париж» и скрипичный концерт Мендельсона. А за окном шел дождь, и обе мелодии сплетались здесь, в комнате.

Когда он обо всем рассказал девушке, она внимательно выслушала и так печально взглянула на него, что он уже во время рассказа понял — она хочет иметь свою собственную песню, только свою, а у него уже не было песен, и он не жег спичек для нее.

В тот день, когда они встретились, был праздник, и всюду звучали марши. Было бы странно, если бы один из этих маршей стал песней любви. Он перестал ходить взад-вперед. «На самом деле было бы странно», — подумал он и, чтобы представить себе это, начал напевать первый попавшийся марш и никак не мог заставить себя подумать о девушке. Он насильно заставлял себя — снова ничего не получилось, а он зашагал как солдат, высоко выбрасывая ноги. Где-то в памяти затрещали пулеметы, он был солдатом — солдатом в изодранных штанах. Неприятель наступал на пятки, и у него не было времени зашить дырки на своих штанах. Он лежал за стеной полуразрушенного дома. Третий день шел бой за улицу, стреляли с одного тротуара на другой. В здании напротив расположился противник. Над расцвеченной пулями стеной угрожающе повисла бетонная лестничная площадка. Из стены торчали железные прутья, как обнаженные нервы. Вокруг лежали раненые и убитые. Солдаты давно уже привыкли к стонам раненых и крику умирающих. Вот и сейчас тут, рядом, лежит раненый солдат, с которым он беседовал еще вчера, а сегодня он с утра бредит, бредит о маленькой улочке, домике и цветущей акации; и вдруг среди этих знакомых звуков слышится странное нытье. До сих пор еще никто не скорбел так жалобно. Эти непонятные звуки на мгновение прерывают бой. Привыкшие ко всему солдаты озабоченно переглядываются. На противоположной стороне улицы также тишина. Очевидно, нервы противника тоже не выдерживают. Один из солдат осторожно вылезает из-за прикрытия и оглядывается.

— Раненая кошка с котятами, — говорит он, — устроилась на трубе соседнего здания.

— Как стонет, проклятая, — говорит другой.

Они впервые слышат крики раненой кошки. Погибали люди, все уже привыкли к бреду умирающих о далеких улочках, маленьких домиках и цветущих акациях.

— Не могу, — кричит один из них, — я не вынесу этого, не вынесу!

А кто мог? И по молчаливому согласию один из солдат поднимается с места и ложится на прикрывающую их стену.

Солдаты противника могут убить его, но, очевидно, и они хотят одного — тишины. Обе стороны ждут выстрела. Звучит выстрел, и полем боя, полным взрывов снарядов и воя самолетов, овладевает минутное молчание. Потом снова частит пулемет, взрываются мины, но зато не слышны больше стоны умирающей кошки. Это настоящая тишина.

Нет, марши не подходят к любви. Если бы он не видел войны, может быть, они и настроили бы его на праздничный лад... Но за окном дождь, и он ждет свою девушку, которая и так опоздала, опоздала по крайней мере на два десятилетия, когда у него уже нет песен и он не может ждать и любить, как прежде.

Но сейчас он ждал, и ждал просто потому, что на улице был дождь и люди заперлись в своих квартирах со своими женами.

Он подошел и включил радиоприемник. Никогда еще мир не был так болтлив. Станции злословили и сплетничали друг о друге. Какая-то станция еще старалась в этом хаосе слов передавать музыку. Наверное, это была маленькая страна, которой нечего было терять и находить. Она не имела атомной бомбы и не думала о ее сбрасывании или уничтожении, а имела только песни, которые и отдавала миру. Соседние с ней станции угрожали кому-то. Он не понимал их речи, но чувствовал, что это угрозы. Угрожают, тогда как он ждет свою девушку, вспоминает о прошлой любви, о войне, напевает песенку «Мой Париж» и скрипичный концерт Мендельсона. Угрожают безумно, как будто своей угрозой могут заставить людей не любить или же не помнить о прошлой войне. Угрозы этих станций долетали издалека, переплетались с мелодиями маленькой страны и портили чистое, светлое настроение.

Давно уже звонили, он услышал звонки с опозданием и, выключив радио, пошел открывать дверь.

Девушка пахла дождем, волосы были мокрые. Сложив губы для поцелуя, она приблизила к нему свое влажное лицо, а он обнял и поцеловал ее в голову.

— Добрый день, — сказала девушка, прижавшись к его груди.

— Добрый день.

— Сейчас я уберу здесь, а потом мы решим, как будем обставлять наши комнаты.

Он ничего не ответил, только утвердительно кивнул головой и снова подошел к радиоприемнику.

Девушка сняла плащ, надела домашние туфли и, взяв пылесос, принялась за уборку. Он с трудом настроился на прежнюю станцию.

— Сюда мы поставим наши кровати, — сказала девушка из другой комнаты.

— Конечно, сюда, — согласился он, не зная, где они должны стоять.

— А сюда, в угол, мой туалетный столик.

Угрозы соседних станций душили мелодию. Осторожно передвигая стрелку, он старался заставить их замолчать, но ему это не удалось, и он вынужден был выключить радиоприемник.

— Опять угрозы, — сказал он, поднимаясь с места.

— Что ты, нет-нет, я не угрожаю! Если ты не хочешь, я вообще не возьму всего этого с собой!

— Не ты. Одна из радиостанций угрожает.

— Ну и пусть угрожает.

«И правда, ну и что же, что угрожает? — подумал он. — Если эти станции не считаются с тем, что здесь кто-то мысленно обставляет свои комнаты, если для них ничего не значит, что идет дождь и вместе с дождем я вспоминаю о своей прошлой любви, почему же я сам не могу презирать их?»

— Сюда мы поставим твой письменный стол.

Он приподнялся с места, чтобы увидеть, где в будущем будет поставлен его письменный стол.

— Здесь, — показала девушка на пространство между окном и дверью.

Ему хотелось поставить его в другом месте, но он ничего не сказал, снова утвердительно кивнул головой и еле слышно проговорил:

— Ну что ж, пусть будет так.

— А здесь будет круглый кофейный столик.

И девушка поставила кофейный столик на дороге, прямо там, где он любил ходить, собираясь с мыслями.

Он не сказал ей, что это место неудобно, что часто, работая, он ходит по комнатам. Если бы он сказал ей про это, пришлось бы рассказать о том, что в это время он насвистывает скрипичный концерт Мендельсона, а сейчас он не должен был насвистывать, по крайней мере не должен был насвистывать концерт Мендельсона. И он в последний раз начал ходить по комнате, пока там не было кофейного столика. В мыслях был Мендельсон, а на губах какая-то игривая песенка; девушка сочла это знаком расположения, улыбнулась и несколько раз быстро-быстро поцеловала его.

— Я знала, что ты будешь доволен.

Он не сказал ей, что сейчас ему все равно — пусть хоть в комнате будут стоять три столика и пусть эти туалетные столики перекроют все его дороги. Он замкнулся в себе, а на улице шел дождь, эфир был полон угроз, и только какая-то маленькая станция передавала музыку.

— Ты рад, что я пришла, правда?

Минуту он смотрел на девушку, смотрел, зная, что не может не ответить ей.

— Ты могла не прийти, ведь шел дождь.

— Ну и что же, что дождь? — удивилась девушка.

— Ты же промокла.

— А сейчас уже высохла, — громко засмеялась девушка.

— Можешь заболеть.

Девушка снова обняла его за шею, поцеловала и сквозь улыбку сказала:

— Не беспокойся обо мне, любимый, — потом снова поцеловала его и, помаргивая своими круглыми глазками, спросила: — Ты меня любишь, правда?

Одно мгновение, только одно мгновение он в смятении улыбался. Ни спичек не жег он для нее, ни песен ей не дарил. Но девушка этого не заметила, маленькой ладонью прикрыла его губы и сказала:

— Знаю без слов. Какие мы, девушки, глупые.

За окном шел дождь, он обнял девушку и пошел с ней к окну. На улице никого не было, стоял мокрый автомобиль, отражение которого тонуло в мокром асфальте. Потом показалась девушка, которая без плаща бежала под дождем.

Перевела Н. Манукян

Неоседланные лошади

Волкодав залаял на тишину, лай ударился о гору, отдался эхом. Волкодав залаял на эхо. Эхо и волкодав облаяли друг друга.

И снова все стихло.

Лошадь насторожилась. Если слышишь тишину, значит, тишина существует. А сейчас она была слышна. В мохнатых ушах лошади звоном далекого водопада отозвалась тишина. Лошадь встряхнулась, испуганно взлетели мухи, облепившие уголки ее глаз и ранки, натертые седлом. Горный ветерок, замешенный на запахах нагретого сена, овец, собак, людей, принес с собой еще какой-то будоражащий запах. Лошадь напряглась, ноздри ее дрогнули. Нет, не было знакомого терпкого духа стойбища, кожаных ремней, седел, но было нечто другое, от чего глаза ее помутнели, а во рту стал невыносимо ощущаться ледяной привкус железных удил.

Ведь бродят же где-то лошади, не знающие седла, никогда не выдавшие конюшен.

Ветерок был насыщен звуками, но вместо ржания диких кобыл лошадь услышала лишь мерное жужжание мух, пение жаворонков, крики куропаток, приглушенный расстоянием лай собак и голос человека, зовущий кого-то. Белое облачко в глубине вечернего неба запламенело и погасло, став пепельно-серым. Лошади почудилось, что по кромке, отделяющей горы от неба, пронесся табун диких кобыл. Среди них она вдруг узнала и себя — длинноногую, вольную, никогда не знавшую седла. Она беспокойно забила связанными передними ногами, тонко заржала, призывая кобыл, тех, что никогда не были оседланы, а теперь уносили ввысь, в горы, ее молодость.

Кобылы не замедлили бега, не оглянулись. Старая лошадь осталась одна. Ей стало беспокойно от мух, облепивших натертые седлом раны, зазнобило мелкой дрожью, заволкло глаза. В мохнатых ушах звоном далекого водопада отдалась тишина, потом снова где-то залаял на тишину изнывавший от нее волкодав, и тишина в ответ облаяла волкодава.

Когда лошадь впервые объездили, она была еще жеребенком. Первым ее всадником был маленький мальчик, такой же жеребенок, как она сама.

Мальчик провел смуглой рукой по спине жеребенка, потрепал ей загривок, погладил лоб и заявил:

— Ты куда лучше моей лошадки.

Его лошадкой был прутик. Мальчишка сам ржал за него, щипал травку, бил копытами, скакал галопом и замирал под натянутыми поводьями.

На конце прутика еще оставалось несколько пыльных листочков. То был хвост деревянной лошадки. А старая лошадь была тогда еще жеребенком и гордилась своим настоящим хвостом и тем, что мальчишка гладит ей лоб.

— Пошли купаться! — предложил мальчик, держась за гриву лошади. Она была еще жеребенком и сперва взбрыкнула, не соглашаясь. Мальчишка разделся и вскочил ей на спину. Лошадь взвилась, сбросила его, но он снова обнял ее за шею и огорченно сказал:

— Ты хуже моей лошадки, ты плохая.

И тогда лошадь позволила мальчику взобраться ей на спину и шептать ей в ухо:

— Нет, ты лучше, честное слово, лучше моей лошадки.

Была жеребенком, дала себя провести. Впрочем, это ведь и не было обманом. Откуда же было знать, что потом ее будут седлать и ездить на ней будут другие люди?

Пошли к реке. Вода была холодной, приятной. Мальчишка крепко держался за ее холку, и они плыли вниз по течению. Когда вышли из воды, лошадь радостно заржала, а потом, неся на своей спине мальчишку, проскакала через луг, вскидываясь и выбрасывая ноги. Заметив на краю дороги забытый пыльный прутик, лошадь остановилась, выжидая. Мальчишка не заметил, а может, и заметил, но не соскочил, не поднял с земли прутик. Оба были молодые и не понимали, что с этим прутиком остались позади и маленький мальчишка и жеребенок. * * *

Эта история была так стара, что лошадь еле-еле припомнила мальчишку. Она медленно опустила голову, и в темных, словно налитых кофе глазах отразилась печаль о тех людях, которые седлали и покидали ее. * * *

Все вокруг было зелено, и лишь серая лошадь со связанными передними ногами вырисовывалась на зеленом фоне. Теперь, когда на холсте поместилась и видневшаяся вдаль гора, зеленый цвет заполнил, утяжелил картину. Художник сделал гору чуточку более низкой, чтобы дать место небу, и, хотя небо было ясным, написал облако, чтобы уравновесить серое пятно лошади с зеленым фоном картины.

На боках старой лошади явственно обозначались ребра, а матовые печальные глаза в глубоких глазницах напоминали чашки, доверху наполненные кофе.

О чем ей думалось? Художник не знал. Но мысленно он уже не раз седлал эту лошадь, отправлялся на ней в путь и снова возвращался. Не представлял он и того, сколько же живут на свете лошади. Должно быть, долго. Они древнее самых старых вещей. Эта вот лошадь, наверное, жила еще при его прадедах и даже раньше. Ее впрягали в римские колесницы, она видела войны, а теперь спокойно пощипывает траву. Он закрыл глаза. Времена, века смешались друг с другом. Он не мог думать о лошадях иначе. Если бы ему сказали, что лошади едва доживают до двадцати лет, он изумился бы. Двадцать лет... В этих древних глазах отражались ассирийские барельефы и не было ничего общего с тем, что могло бы передвигаться вместе с автомашинами по современному, асфальтированному шоссе. Хорошо,

что они сейчас в горах — ему всегда больно за лошадей там, внизу.

Он пригляделся внимательнее, ему показалось, что у лошади подрагивают губы. Она беззвучно произносит молитву, языческую молитву!

Смеркалось. Краски на палитре потухли, и он отложил кисти, пытаясь удержать в памяти каждую линию, каждое движение, трепет мышц, пробежавший под кожей лошади. А лошадь, вытянув шею, мысленно уносилась с табунами диких кобыл, ввысь, в горы. Она мчалась вперед с гривой по ветру, и путь этот был нескончаем и вечен, как сами лошади от времен ассирийских барельефов до наших дней.

Троп, троп, троп... — отбивают копыта. Троп, троп, троп... — торопится за ней жеребенок. Мать выгибает шею, следит, не отстал ли жеребенок. Много было у нее жеребят, но того, темно-рыжего, с белой отметиной на лбу, того она помнит лучше всех. Он родился в поле. Схватки начались в пути, всадник соскочил с нее на землю и ждал, пока не родился тот, с белой отметиной...

На стойбище вернулись втроем. Вылизанные матерью бока жеребенка лоснились, ноги были так слабы, что все время подгибались.

Потом жеребенок всюду бегал за ней, а если отставал, она замедляла шаг, поджидая его. Бывало, что за это ее ударяли хлыстом.

Через два года она потеряла и этого жеребенка. Его оседлали, увели в другое место, и она потеряла его. Но однажды она увидела его еще раз. Хозяин натянул поводья, тот всадник тоже. Они разговорились и продолжали путь вместе. Лошадь, вытянув шею, обнюхала, узнала своего жеребенка. И тот узнал ее. Ее стегнули прутом, его тоже. Пусть бьют, лишь бы им всегда быть вместе. Но не получилось. У развилки дороги ее хозяин сказал тому всаднику «доброй ночи», и они расстались.

Лошадь печально смотрела на дорогу, тянущуюся по горе. Она все еще не перестала ждать своего жеребенка, верила, что встретит его, обнюхает, узнает. * * *

Вот так, когда она закидывает голову, так и надо ее рисовать. Художник открыл блокнот и стал торопливо набрасывать удлинненную лошадиную голову, глядящую через плечо. Лошадь прижала мохнатые уши.

— Старина, — сказал художник, — что это тебе вспомнилось? Я-то до сих пор рисовал тебя без воспоминаний, а ты, оказывается, вон какая мудрая. Еще немного, и я нарисую тебя человеком.

Никто ее раньше не называл стариной, звали ее вовсе не так. Лошадь равнодушно повела головой.

— Я к тебе обращаюсь, старина, слышишь?

Художник подошел к лошади, почесал ей шею. Кончиком кисти погладил по голове.

— Эх, старина, старина, — протянул он, словно приготовившись рассказать что-то.

У лошади был такой осмысленный взгляд, что заговори она — художник не удивился бы.

— Послушай, не гляди на меня так. Я ведь художник, я верю, что все на свете умеет говорить по-человечьи. И трава эта может, и ты, и вечер, и камень. Все может заговорить. Как по-твоему, а, старина?

Лошадь мотнула головой. Люди и раньше заговаривали с ней, и она знала, что разговорчивые

всегда были добрее молчаливых.

Был один такой: все приговаривал что-то, пока седлал, а пустившись в дорогу, рассказывал ей о человеческих делах. Должно быть, о своем жеребенке, своем табуне. Лошадь уже не помнила, о чем он говорил, да и тогда не понимала, но всегда прислушивалась и различала среди других слов свою кличку и ласковые слова, обращенные к ней. И каждый раз, беседуя, они приходили в одно и то же место — к мельнице, возле которой был родник. Там всадник соскакивал на землю и ждал. К роднику приходили девушки с кувшинами, и, если та девушка бывала одна, он забирал у нее кувшин с водой, и они уходили вверх по дороге. Он больше не заговаривал с лошадью, она шла за ними, а девушка просила:

— Замолчи, лошадь услышит, совестно.

— Ну и пусть слышит!

— Она же поймет...

— Лошади этого не понимают.

— Но почему она так смотрит? * * *

— Ну, старина, а ты ведь понимаешь меня, да еще как понимаешь...

Старая лошадь не слушает художника. Навострив мохнатые уши, она чутко ловит звуки, еле различимые вдали. Где-то в их глубине живет почти забытый клич, печальный лошадиный зов, слышанный давно-давно в молодости. То было предсмертное ржанье лошади, окруженной стаей волков, лошади, оставленной на воле, расседланной и такой же старой, как она сама теперь.

Стояла поздняя осень, травы были покрыты инеем, по лужам тонкой паутинкой разбежался ледок. Она возвращалась с хозяином со стойбищ. Внезапно чей-то протяжный вой рассек воздух. Вслед за ним словно ударились о землю, раскатилось хриплое, отчаянное ржанье.

Хозяин подстегнул ее, пустил вскачь, и они оказались в селе раньше, чем успели услышать еще один безнадежный зов старой лошади.

Хозяин рассказал что-то людям, собравшимся вокруг, лошадь завели в конюшню, пришла ночь, темная ночь, и уже с горы, из-за стойбищ, донесся вой удалявшейся волчьей стаи...

Сейчас тоже осень, и старая лошадь — она сама. Скоро вернутся в деревню стада, люди уйдут с горных пастбищ, а ее оставят здесь, среди зелени гор, на съедение волкам. И когда иней покроет травы, а лужи затянет льдом, они появятся, завоют, окружат ее, и один, отделившись от стаи, вспрыгнет ей на спину. Лошадь задрожала, покрылась испариной, глаза ее тоскливо блеснули.

Теперь ее уже не седлают. Неоседланная, она целыми днями бродит по лугам, засыпает около палаток, положив голову на плечо, и сон ее бывает полон табунами диких кобыл и волчьими стаями. В горах пока еще есть люди, и лошадь слышит сквозь сон лай собак, ощущает дым очага. Потом, когда люди уйдут, лай умолкнет, очаги погаснут...

— Говорят, ты была славной лошадью, старина. Хотел бы я нарисовать тебя в молодости, а ты вот взяла и состарилась. Глаза у тебя древние, а губы дрожат, как у молящейся старухи. Но ты все же нравишься мне, особенно когда настораживаешься и, закинув голову, глядишь на горы. Я, пожалуй, такой и нарисую тебя.

Художник сложил мольберт, краски и зашел в палатку. Потом зажег лампу. Лошадь подошла к палатке и остановилась у входа.

Было совсем темно. Из полузавешенного входа в палатку виднелся выпукло очерченный контур лошадиной фигуры. Художник взял лист бумаги, фломастер — и попытался изобразить ее черным клеймом на черном фоне неба. Протянулись, пересекли друг друга густые линии, и лошадь с поднятой головой и с гривой, сквозь которую виднелись звезды, застыла на листе. Художник набросал горы и табун, стремительно уносящийся ввысь. Закончив рисунок, он потушил лампу и улегся спать.

Задремала и лошадь.

Вдали залаяла собака, другие стали вторить ей. Лошадь втянула ноздрями холодный ночной воздух. Где-то во тьме притаились волки, она ощутила их запах. Лошадь в страхе просунула голову внутрь палатки и печально застонала.

— Ты чего не спишь, старина, тебе потолковать охота? Ну так слушай. Люди частенько имеют лошадиные физиономии, да, да, именно лошадиные. Попадаются люди и с птичьими лицами. У меня когда-то был конь. Ты слышишь, старина? Мы дружили с ним на фронте. Потом его убили. Пулей в лоб. Ноги его сразу подломились, и он рухнул на землю. И я расседлать его не успел. Так он и кончился — в узде, с седлом на спине. Знаешь, милая, я много раз видел смерть, а конь тот умер, как умирают люди. Он упал на колени, потом прижал голову к земле, а в глазах его была такая тоска... Старина, почему у тебя задрожали губы, может, ты произносишь молитву? Тебе, наверное, не доводилось беседовать с людьми, а я вот разговорился с тобой. Никогда не забуду того рыжего коня. Когда он был со мной, мне казалось, что я здесь, в наших горах... Кто знает, может, он был мой земляк, а может, даже твой сын... Ты так стара, что все кони на свете могли бы быть твоими сыновьями.

Лай собак замер за горой. Лошадь шагнула назад и растворилась в темноте. Теперь она снова думала о рыжем жеребенке. Что с ним стало, куда его увели? Она не знала этого. Сама она войны не видала, и смерть представлялась ей лишь в образе волка. Сейчас ночное небо глядело на нее сверкающими волчьими глазами, и луна свисала с плеча горы, похожая на клык. Лошади показалось, что на спину ей вскочил волк. Раны, натертые седлом, занули, снова стали кровоточить, и старая лошадь дернулась, забилась, пытаясь сбросить волка.

Теперь, когда она так стара, ей частенько виделись табуны неоседланных лошадей и стаи волков. И всякий раз она пыталась сорваться с места, догнать уносившийся табун или спастись от волчьей стаи, всю ночь гнавшейся за ней по пятам.

Передние ноги ее были связаны. Она потопталась на месте и тонко заржала. Ночь скатилась с ее хребта. Раны перестали кровоточить.

Художник вышел из палатки и с лампой в руке подошел к лошади.

— Что с тобой, старина?

Лошадь захрапела, дернулась и позволила художнику почесать ей голову.

— Ну вот видишь, старина, с тобой не так-то уж здорово разговаривать, ты ведь пытаешься думать и потому не можешь уснуть. Лошадь должна оставаться лошадью, человек — человеком, иначе все смешается, все пойдет прахом. Ну спи, старина, не мешай мне, завтра я буду тебя писать, а если ты не уснешь, морда у тебя вытянется еще больше, и тебя совсем не отличить будет от лошади. А я ведь хочу написать твои глаза, печальные, человечески глаза.

Лошадь слушала художника, и в глазах ее тонула ночь со своими тенями и вспышками звезд. Художник зашел в палатку. Ему не хотелось спать. Посидеть бы рядом с лошадью, послушать ночь, тишину и нарисовать огромное безмолвие, в котором много-много лошадей. Но он озяб, было холодно, и капельки росы уже затвердевали на траве.

Лошадь стояла перед палаткой и вспоминала ту, оставленную на лугу, старую расседланную лошадь, которую съели волки.

Ночь текла, как большая река, а лошадь стояла посреди течения и втягивала в себя ноздрями эту ночь. Ночь омывала ей сердце, легкие и черным комком оставалась у нее внутри. И если бы ночь не была полна звезд, лошадь непременно порвала бы путы на ногах и бешено умчалась бы в ту сторону, где были стойбища, потом повернула бы к деревне, туда, где люди и дым очагов.

Лошадь не понимала, почему та, другая старая лошадь осталась на лугу, почему не вернулась. Может, ей встретился табун неоседланных лошадей? И в самом деле, в ночи пронесся табун диких неоседланных лошадей: троп, троп, троп... Запах этих лошадей разлился вокруг, коснулся ее ноздрей, и она, позабыв о волках, побрела на этот запах.

Троп, троп, троп... Из-под копыт вспорхнула сонная птица. Она ударилась о ночь и снова упала в траву. За камнями прошмыгнул заяц, блеснули волчьи глаза. Решив пока не связываться, волк исчез в темноте.

Лошадь осторожно переступила через ручей и пошла вверх. Лай собак и блеяние овец уже не были слышны. Бык, такой же старый, как она сама, лежал на дороге, жуя губами. Лошадь поздоровалась с ним и прошла мимо, не получив ответа. Во мгле проносились табуны диких неоседланных лошадей, она спешила к ним. Они сейчас пасутся где-то, пасутся где-то там, в горах. * * *

Утром, выйдя из палатки и не найдя возле нее лошади, художник поспешил к табунщику.

— Куда она девалась? — спросил он.

— Кто ее знает, может, в горы поднялась.

— А нельзя ли за ней послать кого-нибудь?

— Это зачем еще?

— Она же может пропасть.

— Вернется — ладно, не вернется — еще лучше.

— Как же это так?

— А вот так. Она уже никому не нужна — не годится ни под седло, ни в упряжку.

Художнику вспомнился старик сосед. Сын говорил, что ему уже за сто лет, и все с ним соглашались. Невестка не разговаривала со стариком, и он целыми днями просиживал во дворе, все курил и ждал, когда же его позовут домой. Но никто его не звал, и старик иногда оставался на дворе до поздней ночи. Он обижался на сына, невестку, внуков, вспоминал давно умершую жену и Ван[3] и говорил сам себе:

— Я уйду в Ван.

Он поднимался с места, закуривал самокрутку и брел куда-то по улице.

Никто не знал, где находится его Ван, но всякий раз, отправившись в Ван, он возвращался поздней ночью и рассказывал удивительные вещи. Он говорил, что повидал мать, отца, жену, братьев, играл с друзьями детства, ловил рыбу и ел фрукты из своего сада.

Сына не интересовало, где был отец. Он никогда не видал Вана и каждый раз, когда отец

собирался уйти в Ван, говорил:

— Старик совсем спятил.

— Ну и пусть себе уходит, — верещала жена, — хоть бы и вовсе не возвращался.

И чем больше он старился, тем чаще повторялись эти уходы в Ван. Однажды, когда старик возвращался из Вана, художник повстречал его и спросил:

— Погос-ага, что нового в Ване?

— Ван, да не рухнет твой очаг, — печально ответил старик, — разорили мой дом, огнем спалили. В Ване собакам житье, а людям нет житья. Эх, Ван, Ван...

Он не стал в этот раз рассказывать длинных историй, а понутив голову, поплелся домой, но, дойдя до дому, повернул обратно, говоря:

— Здесь никто меня не ждет, пойду в Ван. Разорили мой край, мой город, хочу умереть там...

И ушел.

В эту ночь он не вернулся. Лишь на следующий день сын и невестка стали его искать. Спустя два дня старика нашли мертвым за городом, на берегу реки.

— Он шел в Ван, — сказал сын, — каждый раз уходил и возвращался, но я знал, что когда-нибудь он не вернется. Выжил из ума старик.

Сын никогда не видел Вана, родители бежали оттуда, когда он только родился, и он никак не мог взять в толк, зачем это отцу понадобилось уходить в Ван. * * *

Художник задумчиво посмотрел на табунщика, потом сказал:

— Она нужна мне, я ее рисую, — он почувствовал, что это звучит не очень убедительно, — и потом не пешком же мне уйти с гор!

— Дадим другую лошадь.

— Но я хочу уехать именно на ней.

— Дело твое, — недовольно поморщился табунщик, — коли так, pošлю кого-нибудь на поиски, вряд ли она далеко ушла.

Но она ушла далеко, и вернули ее лишь к вечеру. Глаза старой лошади были печальны, и художник увидел эту печаль.

На следующее утро он покидал горы, но не стал седлать лошадь.

— Не надо, я не буду на нее садиться.

Стояла осень, они покидали горы. Впереди двигалась отара овец, потом стадо, а позади всех шагали художник и старая лошадь. Иногда они оборачивались и смотрели в сторону гор. В горах стоял туман, вершины гор были покрыты тучами, в глубине этих туч притаился снег.

Лошадь насторожилась, замерла. Ей почудилось, что по кромке гор пронесся табун диких кобыл. Губы ее дрогнули, глаза стали еще тоскливее, и, откинув голову, она снова заржала.

Ржанье ударило о гору, отдалось эхом. Лошадь повернулась к горам, порываясь вернуться на собственный зов.

— Куда ты? — спросил художник.

Она остановилась.

— Ну, пойдём, пойдём, старина, уже поздно, мы с тобой отстаём.

Отара давно уже сошла вниз. На дороге стояли лишь лошадь и художник. Художнику было тяжело нести мольберт, этюдник и холсты, но он не хотел перекладывать все это на лошадь.

Художник терпеливо ждал, но лошадь не тронулась с места, и он повторил:

— Пошли, старина, поздно уже.

Лошадь побрела за художником. Теперь все кругом молчало, и лишь какой-то волкодав, изнывавший от тишины, хрипло залаял где-то вдали. Лай коснулся горы, отдался эхом. Эхо и волкодав облаяли друг друга. Потом все стихло.

Лошадь, понуриив голову, медленно шла за художником.

Стояла осень. С гор спускались неоседланная лошадь и художник, нагруженный холстами, мольбертом и этюдником. У обоих в душе были табуны неоседланных лошадей и стаи волков, которые шли за ними.

Перевела К. Кафиева

Избушка в лесу

Три метких выстрела — и трое падают. Один валится как подкошенный, не сделав и шага. Второй пытаюсь встать, истекает кровью. Третий оседает на землю, придерживая руками разорванный живот, потом вдруг вскакивает и мчится вперед.

В него стреляют, стреляют из автоматов. Он уже мертв, но продолжает бежать.

Снова очередь. Пули оставляют многоточия на обнаженной спине бегущего. Его взяли на прицел, стреляют, но он бежит, хотя давно уже, с первого выстрела, мертв...

— Тебя застрелили, ты убит! — размахивая деревянным автоматом, кричит один из победителей.

— Вовсе и не убит, — откуда-то, может быть из-за угла дома, говорит убитый. — Все пули пролетели мимо, кроме одной, да и та только ранила, а не убила.

Подходят остальные убитые, собираются в тени балкона и начинают спорить с победителями.

— Ну и что же, что вы стреляете из автоматов? Бывает даже, что расстреливают из пулеметов, и все равно никто не погибает.

«Случается...» — тихо говорит себе сидящий на балконе человек в коляске.

Ему кажется, что снова с адским воем вокруг рвутся мины, падают товарищи, потом вскакивают и бегут. Он не успевает за ними. Ложится в вырытую миной воронку. Не надо ни о чем думать. Но он не может не думать. Разве это справедливо — изо всех минометов бить в одного?

Гром орудий умолкает. Он не слышит тишины. В голове неотвязная мысль: удивительно, как можно из всех орудий стрелять только в одного человека, в солдата, отставшего от товарищей.

Т рах-тах-тах-тах!..

Теперь победители отступают, а побежденные атакуют. Во дворе кипит сражение.

— Замолчите, уходите отсюда! — кричит жилец с первого этажа.

Он пекарь. Работает ночью и только на рассвете возвращается домой.

— Слышите, я вам говорю, вон отсюда!

Дети не знают, что он пекарь. Не знают, что он ночью работает, а днем спит.

Дети стреляют в пекаря — трах-тах-тах! Они убивают его, а пекарь, несмотря на то что уже убит, кричит во все горло:

— Вон отсюда!

«Работников ночных смен нужно селить в верхних этажах», — вспоминает газетную строчку человек на балконе.

— ...я вашу... — Жилец с первого этажа без рубашки выходит во двор.

— Трах-тах-тах!

Мальчишка стреляет в последний раз в упор. Пекарь не шатается, не падает. С грозным видом он направляется к детям. Воюющие стороны отступают и переносят сражение на улицу.

На мгновение во дворе наступает тишина. Потом появляются другие дети. Они собираются в тени дерева и принимаются достраивать домик из песка.

Дождь начинается внезапно. Детишки втыкают веточки вокруг домика. Некоторое время малыши крепятся, не обращают внимания на дождь, но потом не выдерживают и разбегаются по домам. Двор пустеет.

Он откатывает коляску назад и, расположившись в глубине балкона, думает о воюющих под дождем ребятах и о солдатах, воевавших много лет назад под таким же дождем.

...Дождь ручьями лился в окопы, и потоки грязной воды несли пачки фотографий и писем убитых солдат. Одну фотографию он спас. Это был портрет маленькой девочки с бантиком. На обороте было написано: «Папе в день окончания второго класса».

Нет, не хочется вспоминать войну.

Он смотрит с балкона вниз. Во дворе намокшее под дождем дерево, скамейка. Под скамейкой полоска сухой земли. Сидя в коляске, он видит построенный ребятами домик, осенний проливной дождь, и больше ничего.

Еще несколько минут назад не было дождя. Дети втыкали вокруг домика веточки, и это, наверное, был лес, а тонкая полоска измелченного кирпича — извилистая тропинка.

Он подкатывает коляску к перилам, надеясь увидеть побольше. В этот момент отвесно падавший дождь вдруг ударяет косо, и ему приходится снова вернуться назад.

В комнатах шумят. Кто-то хриплым голосом безуспешно пытается запеть. Это товарищи его жены. Они уже в который раз справляют очередную годовщину окончания университета. Он пытается сосчитать, сколько лет прошло со дня окончания, но вечеринок получается больше.

Его несколько раз зовут. Он делает вид, будто не слышит, так как давно уже не понимает этих людей, а эти люди перестали понимать его. Давно замечает, но никак не может привыкнуть к тому, что его считают странным, виновато улыбаются ему, обмениваясь сочувственными взглядами. И потому в присутствии гостей он или молчит, или, ссылаясь на астму, выходит на балкон. Он жалуется на выдуманную болезнь и сразу же обижается, когда жена с нетерпеливой поспешностью подтверждает его слова, говоря, что он всю ночь задышался и не спал.

Ему не дают самому уйти. Его гонят.

Он с горечью решает не откликаться.

Во дворе стоит домик, построенный малышами.

В детстве у него был такой же домик. Его никто не строил. Домик родился из рассказов и сказок.

Он был маленьким мальчиком, когда впервые обиделся на отца за несправедливое наказание и спрятался за воротами, ведущими в сад.

В детском воображении там был не сад, а лес, и в лесу — избушка.

Он спрятался и не откликался на зов родителей, искавших его уже на улице.

Скорчившись за воротами, он решил, что в доме он сирота. От этого он больше жалел себя, чем встревоженную мать, искавшую его всюду. И только плач матери, который вдруг донесся до его слуха, заставил его забыть жалость к самому себе.

— Я здесь! — крикнул он.

Все обрадовались ему. Он также радовался, что его нашли, потому что это был его первый побег и он боялся леса.

Никто не спрашивал, где он был. А он был в своей лесной избушке, где большая мохнатая собака умела говорить человеческим голосом, пела и рассказывала волшебные сказки.

Он вдруг с удивлением ощутил присутствие запахов и образов детства. Из утраченного прошлого доносится знакомое благоухание мокрой от дождя глинобитной стены их дома. Знакомая тень тополя удлинится, ложится под ноги. В тени мелькают веселые сабли, звучат сказки. И в наступающих сумерках кто-то предлагает:

— Давайте сыграем в прятки.

— Сыграем, — отвечает он.

А мать зовет:

— Андраник, домой, уже поздно!

Ему слышится совсем не изменившийся голос матери. Издали, из дальних далей; звучит и кажется нежнее...

На миг он цепенеет, хочет встать с места, броситься на зов, но скрип алюминиевого протеза возвращает его к действительности, и он остается в своей коляске, непричастный к голосам

гостей в комнате, одинокий.

И снова чередой проходят игры детства. Игры детства, их всегда прерывали ночи детства, неизвестно почему опускавшиеся в самый разгар игры и заставлявшие мать звать его домой.

Потом припоминается любимая дорога к лесной избушке, по которой он всегда проходил, уже лежа в постели.

Необыкновенной была лесная избушка тех детских лет.

В темной ночи ухала сова, издали доносилось завывание белого волка. Да, белого. Пока еще белым был этот волк. Потом слышались песни жившего на полянке гнома. Гном приходил проверять, целы ли сокровища, спрятанные в дупле самого большого дуба. Всегда в это время поднималась буря, древний дуб падал и выворачивал из земли корни.

Каждый раз он приходил и спасал гнома, стонавшего под ветвями раскидистого дерева. А этот неблагодарный маленький гномик с недовольным брюзжанием забирал сокровища и скрывался в густом лесу.

В детстве не было дня, чтобы он не пришел в лесную избушку и не спас неблагодарного маленького гнома.

Гномик был только в детстве. Он не дожил до его юности.

А юность пришла неожиданно-негаданно. Однажды перед сном он вдруг подумал о девочке из соседней школы.

День был пасмурным, и девочка, протянув ладонь и закрыв глаза, бродила по тротуару взад-вперед. Шла, останавливалась, открывала глаза, проверяя, не сбилась ли с дороги, и снова шла.

— Чего протягиваешь руку, как нищенка? Чего просишь?

— Дождя, — ответила тогда девочка и засмеялась. Не раскрыла глаз, не посмотрела на него. На ее узкой ладошке блестели две капельки дождя. Может, их и не было, но ему тогда привиделось — две капельки.

Потом весь день лил дождь, а вечером, лежа в постели, он подумал о девочке. Закрыв глаза, он мысленно перенесся в свою лесную избушку. Над лесом шел дождь. Не ухала сова, не выл серый, да, теперь он стал серым, волк. Буря не выворачивала с корнем деревья, и не жил больше в лесной чаще на краю поляны неблагодарный гномик. Все изменилось.

Теперь на пороге избушки его ждали девочка и собака. Девочка, протянув ладонь и закрыв глаза, улыбалась небу, солнцу и лесу.

— Зачем протягиваешь ладонь?

— Ловлю предрассветный дождь.

...Мать разбудила его поздно. Он чуть не опоздал на уроки. Далекie забытые рассветы... Они всегда прерывали его юношеские сны.

Потом, спустя годы, изменился и лес, и избушка в лесу.

Гордые дубы возносили свои могучие ветви в грозное небо. Звучала музыка, гремели героические марши. И другая девушка, не похожая на девочку с протянутой ладонью, ожидала его на пороге избушки. Она ладошкой не ловила дождь, она каждый раз крепко

обнимала, целовала и шептала на ухо: «Я люблю тебя».

Эта девушка очень была похожа на их соседку, но соседка никогда не улыбалась ему, не обнимала и не шептала «Я люблю тебя».

Поздними вечерами, когда он возвращался домой, она тайком целовалась с каким-то парнем в темном подъезде. И каждый раз, когда он проходил мимо них, она останавливала его, гладила по голове и спрашивала: «Уже поздно, тебе спать пора. Где ты бродишь?»

А ему не спалось. Он был почти взрослым юношей и мог провести ночь без сна, если бы мать не звала домой, не заставляла бы ложиться в постель.

Засыпая, он закрывал глаза и переносился в лесную избушку.

В избушке его ждала девушка. Она обнимала его и шептала: «Я люблю тебя».

...Он начал опаздывать на уроки. Никто не заметил, как наступила буйно растущая, вихрастая, непокорная, наливающаяся силой его юность.

И однажды соседка вернулась домой одна. Глаза ее опухли и покраснели. Увидев его в подъезде, она спросила:

— Уже поздно, почему не идешь спать?

Девушка обняла его, поцеловала и каким-то глухим, далеким голосом проговорила:

— Уезжаем, Андраник, уезжаем из нашего города. Так сложилась судьба...

Как сложилась? Не сказала.

Ночью, в постели, он впервые подумал, что не все в мире так, как нужно. А когда закрыл глаза, то пришел вместе с друзьями в свою лесную избушку с намерением что-то изменить, перестроить в мире. Друзья спорили долго, каждый предлагал свое. У всех было разное мнение.

Назавтра, во время большой перемены, он поведал ребятам о своем открытии, Но никто не понял его. А один из отличников, тот самый, который потом стал преподавателем и до сего дня доволен и миром и собой, с насмешкой заключил:

— Просто ты слабый ученик, и поэтому все тебе не так.

Не поняли.

Впервые он остался один, один-одинешенек в своей лесной избушке с ожидавшими там собакой и соседской девушкой, говорившей глухим, далеким голосом: «Уезжаем, Андраник. Так сложилась судьба...»

А потом?.. Потом университет...

Сегодня друзья жены опять собрались праздновать очередную годовщину окончания университета, а он и не помнит, когда сам окончил.

И окончил ли вообще?

Он сидит в коляске и смотрит с балкона на осенний дождь, на брошенный под дождем недостроенный домик, и перед ним вереницей идут воспоминания студенческих лет.

...Желавшие все познать, студенты тщательно записывали лекции и на экзаменах дословно

пересказывали их.

А он не ходил на лекции. Бродил по длинным коридорам университета в поисках таких же, как он, сбежавших с занятий студентов. Однажды в коридоре он наткнулся на девушку. Она стояла у окна и выглядывала на улицу. В руке у нее была гвоздика.

— Люблю, когда девушки сбегают с лекций.

Девушка удивленно обернулась.

— Ошибаешься. Просто лектор не пришел, мы свободны, — насмешливо улыбаясь, ответила она.

— Почему же не идешь гулять?

— А он может еще прийти.

Это была не та девушка, которую он искал, хотя она была красива. Вернее, милοвидна, — так он думает сейчас, через много лет.

У нее была тонкая талия и полные ноги. На свету, у окна, просвечивали через платье округлые бедра.

— Он не придет, пошли погуляем.

— А ты откуда знаешь?

— Я все знаю.

— Оно и видно, — снова насмешливо улыбнулась девушка и, положив гвоздику на подоконник, ушла.

Однажды весенним утром они снова встретились. Девушка стояла у окна и без всякой причины вдруг сказала:

— Тебе кажется, что ты все знаешь, а на самом деле ты ничего не знаешь. Честное слово, ничего.

Теперь, когда прошло столько лет, он знает, почему она так говорила. Но тогда он был молод и не замечал ни ее красноречивых взглядов, ни того, что лектор опять почему-то опаздывал.

— Не бери греха на душу, я все знаю. Знаю даже, что нравлюсь тебе, — так он ответил тогда.

— Ты нравишься?

— Да, я.

— Вот странный мужчина в самом деле! — громко рассмеялась девушка и поспешно убежала в аудиторию. Звонок на лекцию давно звенел.

Его впервые назвали мужчиной! Тогда, много лет назад, он возгордился этим и не видел, что в дверях аудитории преподаватель и девушка встретились. Лектор с подчеркнутой вежливостью уступил дорогу своей студентке и потом долгим взглядом смотрел ей вслед.

А он остался стоять в коридоре у окна и думал о ней.

В лесной избушке студенческих лет вместе с собакой жила и эта девушка. Каждый раз,

мысленно шагая к лесной избушке и открывая тяжелую дверь, он видел ее у окна, напротив света. Через тонкое платье просвечивали ее полные, округлые бедра. Девушка молчала и насмешливо улыбалась. Он подходил к ней и с притворной самоуверенностью говорил:

— Я все знаю. Знаю даже, что нравлюсь тебе.

— Ты?

— Да, я.

И девушка смеялась звонким ранящим смехом.

Сейчас, после стольких лет, когда в лесной избушке остался только преданный пес, он помнит этот смех. Кажется, даже слышит его, но не таким ранящим и не таким звонко-девичьим, а каким-то сдержанным, сухим. Будто смеются прожитые годы над его безмерной добротой и всепрощающим самопожертвованием.

Да, смеются прошедшие годы. А что поделаешь, если даже ее смех утратил свою прежнюю ядовитость?

Со временем он примирился и с этим смехом, и с этим окружением, и даже с самим собой.

«С самим собой», — мысленно повторяет он и чувствует, как верно это. Никогда раньше не мирился он сам с собой. Никогда не мог примириться по той простой причине, что и до сих пор делает безрезультатные попытки стать похожим на некоторых других — быть эгоистом, мстить за нанесенные обиды, но тут же забывает их и прощает.

Время подобно морским волнам, оно все сглаживает, стирает.

Он тоскует, как лодка, выброшенная на берег. Тоскует, видя, как гибнут в морской пучине караваны парусников-воспоминаний. Почему они гибнут? Может быть, это так же просто и понятно, как понятно, почему сейчас во дворе тонет, медленно погружаясь в лужу, бумажный кораблик, сделанный из тетрадного листа в линейку? Может быть.

Воспоминания меркнут, в последний раз сверкнув своими белыми парусами. Блекнут, как треугольники писем погибшего воина, перевязанные голубой ленточкой и брошенные в корзинку забывшей солдата девушкой,

Треугольники с передовой и голубая ленточка...

Он вдруг ясно видит не вернувшегося с войны друга и связку треугольных писем.

— Я позвала вас, чтобы отдать его письма. Мой супруг постоянно ссорится со мной из-за них.

Женщина не называет имени, женщина просто говорит — «он», «его», «от него», а Андраник вспоминает...

...На стене их дома мелом было написано:

«Араик + Анаид = Любовь».

Помнит, что немного правее, под самой крышей, были написаны масляной краской имена, такие родные: Тигран, Вардгес, Гегам. Их нет, никого из них нет...

...Старая улочка в Ереване, ручей. Дети льют воду из жестяных консервных банок прямо на тротуар. А они, уже взрослые, не участвуют в таких играх. Никто из этих ребятишек еще не написал своего имени на стене дома, а если и обмарал стенку мелом, то рядом со своим

именем не поставил имени какой-нибудь из соседских девчонок. А имена девчонок писали на стене дома обязательно со знаком плюс и единственным и окончательным ответом — любовь, любовь, любовь...

Вот перед домом Вардгеса, в телеге извозчика Айко, сидят Тигран, Гегам, Вардгес и он. Сидят и разговаривают — о чем, он не помнит. Перед ним всплывают отдельные черты их лиц: длинный нос Тиграна, черные брови и мягкий взгляд Вардгеса, правильный, продолговатый овал лица Гегамы. Но почему лица эти кажутся масками, посмертными масками, снятыми с тех, кто когда-то жил, улыбался, грустил, с родных лиц, которых уже нет? Никого из них нет. Погибли в войну.

Да, воспоминания каждый раз завершаются одним и тем же. Белые гипсовые маски почему-то сливаются в одну, становятся лицом погибшего в окопе незнакомого солдата, мертвые губы которого сжимают непогасшую сигарету.

Сейчас и у него такая же сигарета.

Андраник машет, рукой, чтобы развеять этот мучающий его мертвый дым.

Вместе с движением руки все рассеивается.

Дождь кончился. Военные действия снова перенесены во двор.

— Трах-тах-тах!.. — Ребята опять играют.

«Малыши, что вы делаете?» И тут же мысленно готовится ответить вместо малышей.

Он оглядывается. Вот так всегда: сам себе задает вопросы, издевается над собой, говорит давно известные истины, что, мол, всегда так было, так и будет.

С тревожной поспешностью ищущего спасения он подкатывает коляску к перилам балкона, улыбается играющим во дворе ребятам и говорит:

— Поиграйте в мяч. Вам не надоела война?

— А вам?

Заданный тоненьким голоском вопрос смущает его. Он мысленно успокаивает себя: «Ты не один. Во дворе играют дети. И никогда ты не будешь один, не будешь, нет, нет!..»

Как заигранная, испорченная пластинка, мысль монотонно повторяет: «Не один, один, нет, нет!..» От этого чувство одиночества еще больше усиливается, и живущий в нем следовательно говорит: «Неужели тогда, когда вы играли в войну, никто не сказал вам: «Хватит, а теперь поиграйте в мячик?» И если бы нашелся такой человек, вы послушались бы его?»

Да... никто ничего не говорил. Он хорошо знает, с чего всегда начинается этот диалог. Таковы обычно раздумья одиноких людей или людей, давным-давно порвавших счеты с этим миром.

Он осторожно оглядывается. Он ничего не слышал, даже забыл, что у жены собрались друзья на вечеринку. А вот опять слышны голоса, обрывки каких-то фраз, и вдруг... Нет, нет, он ослышался. Никто ведь не знал, что сейчас, сию минуту, на балконе он защищался от самоуничтожения. Никто ни о чем не знает.

Ему кажется, что в комнате говорят о лесной избушке, о нем. Он прислушивается, но, кроме приглушенного пьяного шума, ничего не слышит. Потом смотрит на занавешенные окна и спокойно улыбается. Они не знают, и никто не знает, что порой он испытывает чувство

раздвоенности и страдает от самобичевания.

«Если ты не трус, — снова атакует он себя, — если ты не трус, вернись в комнату и скажи им: «Это мой дом, и я здесь хозяин. Пусть, по-вашему, я смешной и странный. Но это мой дом, и вы обязаны уважать хозяина». Скажи, а не беги как трус из своего дома и не жалуйся на астму, которой у тебя нет».

Он делает резкое движение, разворачивает коляску к дверям, готовый войти и сказать, что у него нет никакой астмы... Но вдруг до слуха его доносится знакомый, нежный голос. Таким был когда-то голос матери: «Не надо, сынок...» Он останавливается и, умиротворенный, откатывает коляску назад, к перилам балкона.

Вон стоит построенный детишками домик. Снова сыплет осенний, мелкий дождь, уже ничего не видно.

Втиснувшись в свою коляску, он смотрит во двор. На колени наброшен шерстяной плед. Как у Рузвельта.

Фотографию президента он впервые увидел во фронтовой газете. Тот сидел в коляске, и на его колени был наброшен шерстяной плед. Тогда ему и в голову не могла прийти такая мысль, а теперь, когда он пользуется рузвельтовской коляской, он ищет сходства.

Он уверен, что, каким бы роскошным ни был Белый Дом, Рузвельт тоже мечтал о своей лесной избушке или о чем-то вроде этого — об острове, стране или звезде, где можно было бы уединиться, беседовать с самим собой, сочувствовать себе, стыдиться и восхищаться собою. Он уверен, что каждый имеет свою избушку или что-то подобное.

«Ты уверен? Неужели ты останешься таким наивным, не познавшим мир? Во всей неустроенности вашей жизни виноваты эти лесные избушки. Вы прячетесь, уходите от жизни, поэтому те, у кого нет избушек в лесу, действуют свободно и смело, захватывают то, что принадлежит не им, а человечеству. И когда вы возвращаетесь из своих избушек, они уже сделали свое дело. Вам же остается только примириться с тем, что не вы, а они процветают. Ответь, для чего вы придумали лесные избушки? Неужели думаете, что там вы свободны? Нет, это самообман. Лесные избушки результат вашей слабости, и те, другие, торжествуют в жизни не вопреки вам, а именно благодаря вам».

Он смущается. Это неправда, он никогда не стремился к тому, о чем мечтали те, другие. И его избушка не для того, чтобы уйти от жизни. Он никак не поймет, почему его лесная избушка может вызывать такую неприязнь. Они, наверное, думают: «Какая польза выдумывать несуществующее, то, что нельзя купить?» А ему не нужно все то, чего с такой страстью хотят иметь те, другие.

«Верю тебе, но ты не знаешь одного. Есть категория людей, которая не прощает тому, кто обладает чем-то, хотя и малым, что невозможно приобрести за деньги. Эти люди преклоняются перед тем, чего не имеют, но что могли или могут купить за деньги — силу, власть. Но они не уважают ум, талант, способности, потому что если этим не обладаешь, то и не сможешь приобрести. Поэтому они насмешкой уничтожают всех, кто непохож на них. Вернее — тех, на кого они не могут быть похожи».

Вдруг Андранику кажется, что в комнате кто-то заговаривает о лесной избушке. Напрягает слух. Неожиданно вспыхнувший смех мешает уточнить догадку...

«Нет, не может быть, — говорит он себе, — никто не знает о моей избушке, а жена не сделает этого. А если?..»

В его душе что-то надламывается. Он склоняет голову и, примирившийся,

несопротивляющийся, ждет неизбежного. И опять из дальней дали слышит знакомый тихий голос матери: «Андраник, поздно, иди домой».

Иди домой... иди домой... иди домой!!!

Он уже не слышит шума вечеринки, идет за своими мыслями. Легок шаг его. Кажется, будто алюминиевые протезы обросли мышцами, налились силой. Он идет легко, свободно, как много лет назад, когда был молод. Ступни не болят, совсем не болят, и это на минуту смущает его. Он кладет руку на колено. Под пижамой прощупываются зажимы протеза. Все исчезает. Не достигнув лесной избушки, он отброшен назад, к перилам своего балкона, ко двору с построенным ребятами домиком, к своему пледу.

Сколько раз, закутанный в этот плед, он шел дорогой воспоминаний. Часто уходил далеко, плутал, но всегда возвращался к своей старой коляске. К этой коляске...

Во дворе идет дождь, и холодные брызги покалывают лицо. Он отступает к дверям комнаты.

Оттуда слышится все ускоряющаяся музыка. Кто-то поймал ритмичную мелодию, и сейчас приемник гремит во всю мощь. Дробные, прерывистые удары барабана рассказывают историю, идущую из глубины веков, из Черной Африки. Это трагедия чернокожей любви, которая родилась и умерла на берегах Замбези. А вот вступают скрипки. Они повествуют о мятежной белокурой любви. Музыкальные темы переплетаются тревожно и печально. В мелодии слышатся отчаянные крики юноши, ожидающего свою белокурую возлюбленную. Чернокожая любовь, рассказанная языком старинных тамтамов, и белокурая любовь, пропетая томительно печальными скрипками, — они звучат одновременно, не заглушают, не перебивают друг друга. Для любви нет различия в цвете кожи.

Он думает, что мог быть художником, мог стать писателем, и жалеет о своих ненаписанных книгах и картинах.

Музыка усиливается, бушует. Чей-то хриплый, отчаявшийся голос упрямо повторяет: «Только ты, только ты!» И это поется с такой непоколебимой убежденностью, что кажется, если возлюбленная откажет, все рухнет, — пропадет осенний, тихий дождь, исчезнет со двора построенный детьми домик, а потом погибнет земной шар, весь земной шар.

«Только ты!» — бьют барабаны. «Только ты!» — вторят скрипки. «Только ты!» — твердит хриплый голос.

Подобно вспыхивающей неоновой рекламе звучат и гаснут, сливаются музыкальные темы.

Много лет назад, еще студентом, он не сказал с таким упрямством: «Только ты, только ты, и никто больше» той смуглой девушке с тонкой талией и полными ногами.

Встречались и болтали они часто, и каждый раз со звонком она, опаздывая, бежала в аудиторию. У дверей ее всегда ожидал преподаватель. Он отходил в сторону, уступая ей дорогу, и пристально-долгим взглядом смотрел ей вслед.

— Ты мне нравишься.

— Разве? — насмешливо улыбалась девушка.

После лекций долго бродили по улицам. За ними шел преподаватель.

— А я люблю двоих.

Он был молод и не знал, что так иногда бывает в жизни. А она хотя и была молода, но уже читала биографию Джека Лондона.

— Одновременно?

— Да. Ты знаком с биографией Джека Лондона?

— Нет.

— Так прочти.

Девушка откидывала назад голову, будто поправляя волосы, и улыбалась неспешно шедшему за ними преподавателю.

— Значит, об этом ты узнала из книг?

Тогда он еще мало чего прочел. И он не слышал этой песни: «Только ты, только ты!»

Потом он прочел много книг, узнал многое, но так и не поверил, что можно одновременно любить двоих. «Если любят двоих, — думал он тогда (так думает он и сейчас), — значит, одного любят, а другого жалеют». Эта мысль задела его самолюбие. Он решил, что его жалеют, а любят преподавателя. Иначе и не могло быть: он — простой студент, а тот был преподавателем.

Тогда он был молод и неуступчив. Тогда он не прощал ничего и еще не слышал песни «Только ты, только ты!»

Песня звучит в нарастающем темпе. Тревожные удары тамтамов рассказывают о грустной чернокожей любви, а скрипки поют о белокурой любви. «Только ты, только ты!» — с отчаянным упрямством твердит певец.

...Тогда, в студенческие годы, его обидело одно лишь предположение, что его любят из жалости, а потом, спустя годы, так и случилось.

Эта женщина, отмечавшая сейчас вместе с друзьями очередную годовщину окончания университета, в госпитале была медсестрой и с непоколебимым, суровым упрямством решила связать свою жизнь с инвалидом. «Романтика военных лет» — так говорит, так оправдывается сейчас сестра милосердия и прибавляет, что никогда не вышла бы за инвалида, не будь романтики военных лет, не бейся у нее в груди горячее, доброе, готовое к жертве глупое сердце.

Он потирает кулаком лоб и вспоминает...

Когда его призвали в армию, на железнодорожном вокзале собрались родные — мать, отец, сестра, брат.

В теплушке не было мест. Он стоял в дверях и прощался с матерью.

До сих пор помнятся омытые слезами, потухшие глаза матери. Они старались улыбнуться и плакали. Старались показаться беззаботными и, встревоженные, прятались в узких щелочках морщинистых век.

— Пиши часто, слышишь, каждую субботу, — говорила мать.

— Да, да, мама.

— Будь осторожен, не простудись.

«Не простудись»? — удивлялся он. Наверное, мать хотела сказать: «Не дай убить себя, сынок», — мысленно уточнял он, а вслух отвечал:

— Постараюсь, мама.

— Пиши часто, — просила мать.

— Да, буду писать.

Паровоз загудел печально и протяжно. Мать плакала, отец старался улыбнуться, брат затыкался давно уже погасшей папиросой. Потом отец достал из кармана три пачки папирос и протянул ему. «Откуда знает, что я курю?» — подумал он удивленно и взял папиросы. Поезд медленно тронулся.

— Пиши! — зазвенел вдруг девичий голос.

В дверях вагона снизу доверху бритые головы. Из-за голов почти не видна была бегущая за поездом девушка — его смуглянка с тонкой талией и полными ногами.

— Пиши, пиши обязательно!

— Куда?

— Вот адрес!

Рука не дотянулась до протянутого клочка бумаги, не коснулась ее руки. Чья-то чужая рука прикоснулась к ее руке, кто-то другой взял адрес.

Прошло время. Та девушка не дождалась его возвращения и вышла замуж, а он все писал и писал ей.

Где теперь эти маленькие треугольные, похожие на паруса, письма? Сожгла их она или хранит?

Он постарался выяснить их судьбу, когда вернулся с фронта. Он долго убеждал себя, что это очень важно, важнее, чем ее замужество. Это утешало, занимало и интересовало его до тех пор, пока она не сказала, что сожгла письма. Он почувствовал безмерную боль и удивился, что ему больно не оттого, что писем нет, — письма вдруг перестали его интересовать, — он потерял ее. Он больше не мог звонить, говорить с ней, требовать обратно свои письма, больше не мог обманывать себя, что беспокоится о судьбе писем. Письма — частица его души — обесцененными обрывками прожитой жизни были выброшены из круговорота сущего.

Спустя годы и это забылось. Забылись и девушка, и письма, но вдруг... кто-то ему позвонил и попросил прийти и забрать письма его погибшего друга.

Кому они были адресованы, кто был их хозяином? По дороге на место свидания он постарался припомнить, рассказывал ли когда-нибудь его друг, что любит. Нет. Друг никогда ничего не рассказывал, хотя на передовой все рассказывали о своей жизни.

Звонила женщина. Она в течение долгих лет хранила письма.

Хранила так долго...

Но почему же сейчас она отказывалась от них, а его избрала хранителем? Неужто его считают кладбищенским сторожем или складом старого оружия и вышедших из употребления вещей?

Он поехал на свидание в своей инвалидной мотоколяске. Он не выйдет из коляски, чтобы не показать срезанное до половины тело — живой памятник минувшей войне.

Женщина ждала его, как условились, в розовом платье, с пачкой перевязанных голубенькой ленточкой писем в руке. Он не сказал ей, что он безногий и приедет в коляске. Поэтому она не обратила внимания на него и его мотоколяску.

— Здравствуйте, — подчеркнуто бодро поздоровался он. Поздоровался и дождался ответа.

Женщина бросила на него удивленно-презрительный взгляд и, не ответив, прошла вперед. Отойдя от назначенного места свидания, она встала на углу улицы, на краю тротуара. Он подъехал к ней и сказал: — Вы мне звонили.

Женщина вздрогнула, потом вдруг растерянно улыбнулась и почему-то попыталась спрятать связку писем. Инвалидная коляска смутила ее. Откуда она могла знать того, с кем условилась встретиться.

— Значит, вы...

— Да, значит, я, — не дав женщине закончить фразу, жестко повторил он и, чтобы стереть с ее лица эту бессмысленную улыбку, проговорил: — Здесь нельзя останавливать машину. Поищем другое место.

Мотоколяска переехала на другую сторону тротуара и устроилась в тени деревьев. Женщина нехотя последовала за ним. Казалось, она вот-вот убежит.

— Да, это я. Вы звали, и я пришел. Здравствуйте. Как поживаете? Что поделяете? — он говорил свысока, будто не сидел в маленькой, низкой инвалидной коляске, а стоял на пьедестале. — Письма, конечно, принесли? Что же, они хотят быть у меня?

Женщина вдруг скороговоркой выпалила:

— В последнем письме он писал, что если не вернется... — она запнулась, — и если... Он просил передать письма вам. Некоторые страницы касаются вас.

— А вас ничего не касается?

Женщина не ответила. Она хотела бы оправдаться, но молчала.

— И так, в них есть вопросы, касающиеся меня, — говорил он с пьедестала, и ему не нравился его нарочито высокомерный тон.

— Я исполняю его волю и...

— Что?..

Он смотрел на нее снизу вверх — взглядом невысокого, но надменного человека.

— И потом муж. Да муж... Почему вы так смотрите на меня? — Женщина почти кричала.

Какой-то мальчик остановился и удивленно посмотрел на них. Мальчик еще не писал писем, мальчик удивлялся. А он старался убить застывшую в уголках губ никому не нужную, презрительную улыбку и думал, что эта женщина чувствует себя виноватой лишь в том, что красит свои седеющие волосы, что явилась на свидание в нелепом розовом платье, что письма, от которых она так хочет избавиться, перевязаны голубенькой ленточкой.

Женщина беспокойно поправляла прическу, одергивала платье и пыталась незаметно развязать ленточку. Тщетные усилия — нельзя было скрыть того, что было в действительности. А действительность — это жестокость войны и беспомощная попытка замаскировать вычурную нарядность, скрыть все, что так резко обнажилось под его

уничтожающе-насмешливым взглядом. Помнится, женщина отдала ему связку и, с трудом выговаривая слова, произнесла:

— Возьмите, прошу вас, его письма...

Сказала и умолкла. Они не называли имени погибшего. Он боялся оскорбить его память.

— Никого из его родных не осталось. Мать умерла в прошлом году.

Женщина бросила на него испуганный и молящий взгляд и собралась снова просить, но он опередил ее:

— Ну, конечно, вы так и должны были поступить. Я сохраню их.

Не было нужды говорить, что он просто печальная воронка от бомбы с прошлой войны, воронка, в которой люди пытаются похоронить свои воспоминания.

Женщина облегченно улыбнулась, оставила письма и почти бегом ушла.

А он по дороге домой подумал, что его друг не погиб. Кто-то кого-то ревнует к нему. Кого-то стесняет его невидимое присутствие. Он не умер, он продолжал существовать, потому что из глубины времени он вмешивался в жизнь и кровавил ревнивое сердце одного, старающегося забыть — другой и помнящее — третьего.

В тот вечер он стыдился своего отшельничества. Он не имел права быть таким, он, часть которого погибла вместе с другом... А тогда... тогда друг был жив еще, и они шли вместе по дорогам войны. Два дня шли они безостановочно и умудрялись спать на ходу. Сон прерывался и снова мелькал обрывками.

А солдаты все шли, и шли, и шли... И в обрывках короткометражного сна появлялись и живые и мертвые.

Война, идущие на смерть солдаты, и удивительно мирные сны, наплывающие один за другим из каких-то далей, бессвязные, неоконченные, потому что кто-то сбивается с ноги, наталкивается на шагающего впереди товарища.

Удивительны были эти сны. В них не было ни войны, ни солдатских шинелей, ни выстрелов. В этих снах были отцы, матери, жены, товарищи; были мягкие постели, родина, родительский кров...

Шли солдаты и за плечами тащили тяжелые военные доспехи: шинель, противогаз, винтовку, автомат. Шли они, полуприкрыв веки, в легкой дреме видя короткометражные сны до тех пор, пока не сбивался шаг, пока идущие сзади не налетали, не сталкивались с идущими впереди. Тогда сны обрывались, как рвется киноплёнка.

Во сне он никогда не видел лесную избушку. Он посещал ее только наяву — во время короткого отдыха, в жарком бою, но никогда — во сне.

Во время боя лесная избушка была другой — многолюдной, окруженной окопами. Там жили родные, жила смуглая девушка с тонкой талией и полными ногами и пес.

В этой многолюдной избушке не было только его самого, и поэтому избушка виделась ему вдалеке, как будто он глядел на нее в стекла бинокля, которые не приближают предмет, а отдаляют его от тебя.

Жившие в избушке получали от него письма, он мысленно писал им о погибших товарищах, о том, как танки стальными черепахами ползут вперед и смерть витает над окопами. А когда он

закрывал глаза и засыпал, бинокль как бы переворачивали. Все приближалось, и вместо лесной избушки появлялся их дом, старая улица и он сам — в коротких штанишках, с деревянным ружьем.

Однажды ему привиделось, будто он снова юноша и вместе с отцом сидит на балконе. Он курит сигарету и говорит отцу о таких вещах, о которых только здесь, в окопах, осмелился говорить. Вдруг его сильно толкнули в плечо:

— Проснись, идем в атаку!

Окоп был полон дыма и утреннего запаха сырой плесени. Над окопом — свинцовое небо, и на его фоне — будто вырезанные из картона черные, резко очерченные силуэты готовых к атаке солдат.

Это все так явственно и так живо отпечаталось в памяти, что всякий раз, вспоминая утро последней атаки, ему кажется, что он опять там, на передовой, вместе с друзьями стоит на краю окопа, а впереди бескрайняя равнина с маленькой возвышенностью, свинцовое небо с тяжелыми, серыми складками облаков.

С поля боя его вынесли на носилках. Люди в белых халатах казались ледовыми горами.

Норвегия, Пер-Гюнт, Сольвейг... Неужели где-то играли Грига? Вполне возможно. Айсберги окружали его, и от них веяло холодом. Вот один наклонился, протянул руку, обнял его и заговорил женским голосом. Вернее, не заговорил, а запел. Запел ту песню, которой Сольвейг призывала к себе Пер-Гюнта из далёка, а он ходил по синим фиордам, по толстым слоям льда, разделявшим небо и землю.

Сквозь айсберги просвечивали верхушки елей. Они преломлялись, разбивались, множились, как дробится и множится изображение на гранях кристалла. Ели подметали небо, холодное и неживое, как стекло.

Он куда-то шел и почему-то очень был похож на рыбу. Нет, не был похож — просто был рыбой и плавал под айсбергами, плыл к неведомым далям, все глубже погружаясь в море. Чем глубже, тем молчаливее становился мир, тем небо дальше, и из-под синей усыпляющей густоты поднималась окруженная водорослями лесная избушка. Собака с рыбьим хвостом беззвучно лаяла. Рыбы выплывали наружу через незастекленные окна. Их холодные глаза казались раздувшимися пузырями.

Потом все остановилось. Окна лесной избушки приблизились и вобрали в себя, как в раму, синий саван моря со стаями рыб. Он увидел самого себя, похожего на громадную рыбину. Лесная избушка превратилась в аквариум, и он бился головой о прозрачную стеклянную стенку, кричал, взывал о помощи, но, подобно рыбе, лишь беззвучно открывал и закрывал рот. Звуков не было, звуки умерли. Но слышались голоса, и кто-то считал: «Раз, два, три, хлороформ — раз, два три, хлороформ».

«Я не рыба, я — человек! Достаньте меня из аквариума!» Слова вместе с ним медленно опустились на дно, и собака, оставив лесную избушку, последовала за ним.

Воздуха не хватало. Потускнели краски. Синий саван моря стал серым, и он плавал в этом безбрежном пространстве между рыбьими глазами, устремленными на него со всех сторон.

Через три дня, очнувшись, он удивился, откуда это солнце, блестящее на среднем прутике никелированной кровати. Сначала было непонятно, где он и почему рядом сидит женщина в белом.

— Воды.

Женщина дала воды, улыбнулась. Женщина ничего не сказала. Она не объяснила, почему он здесь. Только улыбнулась и осторожно, на цыпочках, вышла.

Соседи по палате рассказали, что он три дня боролся со смертью и бредил.

Только спустя много дней он смог приподняться и увидел, что постель внизу пуста. Но он чувствовал свои ноги...

Ног не было. Он передвигался в коляске, но во сне он ходил пешком. Шел легко и свободно к своей лесной избушке. Легко и свободно, но всегда слышал под ногами какое-то безжизненное, мертвое шуршание сухих трав. И чтобы родные и девушка не слышали это шуршание, он выгнал их. В избушке осталась только преданная собака, у которой был черный, как спелый инжир, нос.

Лесная избушка сразу опустела. Как в детские годы, теперь он снова жил в ней со своей собакой. Но это не была прежняя светлая избушка, где царили беспечность и радость.

Там, в госпитале, он встретился с медсестрой, той самой, у которой сейчас вечеринка по случаю очередной годовщины окончания университета. Она вообще отмечает все свои даты, как будто людям очень нужно знать, когда ты кончила университет или вышла замуж. Многие считают себя значительными людьми, и все события их жизни кажутся им также значительными.

А он?.. Он тоже значителен, да, значителен. Человек неповторим, и это должен знать каждый. Нельзя внушать человеку, что он ничтожество. Почему же тогда он обижается на жену и обвиняет ее? Почему обвиняет этих людей, празднующих годовщину окончания университета? И почему он не считает сегодняшний день своей жизни также значительным, ну, скажем, днем двадцатой годовщины возвращения с фронта?

Когда его выписали из госпиталя, также шел дождь, мелкий, надоедливый дождь. Он стоял на чужом вокзале, в руке билет, на котором было написано название родного города.

Он был молод, едва достиг двадцати двух, но уже видел войну, смерть и возвращался домой. Он не вспоминал и не думал о своей избушке.

С ним вместе возвращались еще два солдата, постарше его, впрочем, война всех сделала ровесниками. Один из них был писателем, он нес в груди осколок под сердцем и считал, что всегда должно быть нечто причиняющее сердцу боль и напоминающее о его существовании. У второго вся грудь была в орденах и медалях. Этот спросил:

— Как же случилось, что вас не представили к наградам?

Такая мысль ни разу не приходила ему в голову. На самом деле, почему его не наградили? Тогда вместо него ответил писатель:

— Война иным нужна для воспоминаний, иным — для славы.

— А для забвения?

— Тем, кто развязал войну и не участвовал в ней, нужно забвение, чтобы снова начать ее.

Писатель разволновался. Он поднес руку к груди, словно хотел зажать осколок, сидевший возле сердца. И молчал мучительно долго, силясь улыбнуться.

Писатель был помоложе, чем тот, в орденах. Старый вояка — он участвовал еще в войне четырнадцатого года — рассмеялся. И он, двадцатидвухлетний, смеялся тоже.

Война только кончилась, и разговоры о возможности и невозможности войны были не ко времени и смешны, а писатель говорил о ней так, будто они не возвращались с войны, а, наоборот, шли воевать.

Писателя не обидел их смех. Он повернулся к нему, к Андранику, и сказал:

— Ваше поколение, встречаясь прежде с калеками, не задумывалось, наверное, над тем, что это солдаты первой мировой войны. Вы считали их жертвами трамвайной либо железнодорожной катастрофы. А через несколько лет новое поколение, глядя на нас, подумает, что и мы жертвы несчастного случая — автомобильной или другой аварии, но не войны. Новая война становится возможной лишь тогда, когда люди забывают о минувшей и когда инвалиды напоминают не о войне, а о несчастном случае, уличной аварии.

— Я не хочу быть учебником истории, — ответил он тогда на эти слова.

Писатель возразил:

— Пока есть возможность повторения старого, нужно, чтобы мы были учебниками истории.

А третий спутник живо откликнулся:

— Да, мы должны служить примером героизма и самопожертвования.

В одном составе, в одном вагоне, в один и тот же город возвращались трое. Но ему показалось тогда, что идут они разными путями и отдаляются друг от друга.

Мир — это когда человек может идти куда хочет, а война гонит всех только одной дорогой.

Почему же теперь его обижает, что люди не хотят понять его? Нет, он не обижается.

Идет дождь. Во дворе никого нет. Из комнаты доносится веселый смех друзей жены. Музыка давно умолкла, и сейчас там кто-то рассказывает, по всей вероятности, очень веселое. Почему-то его заинтересовывает рассказ, и он напрягается. Знакомый голос напоминает голос жены. Да, это ее голос. И рассказ знакомый, очень знакомый — об одном странном человеке, который от всех неудач и разочарований не падает духом, потому что спасается в какой-то... Веселый смех гостей заглушает конец фразы. Но ему ясно — жена рассказывает что-то очень знакомое.

Со скрипом выпрямив алюминиевые колени, он встает с места. Сейчас виден весь двор, но он не смотрит туда. «Войди и уничтожь самодовольное спокойствие этих людей. Они не уважают человека, они смеются, издеваются над всем и вся. Не сегодня, так завтра они посмеются над умом, добротой, честностью. Войди!»

И снова раздвоенность мешает ему. Он остается стоять на месте, выпрямив торс над алюминиевыми протезами. Он почти падает, но удерживает себя, схватившись за спинку коляски, а затем осторожно садится.

Он размышляет. Эти люди, наверное, устали от бездумного существования, разочаровались без разочарования, ожесточились, не изведав ужасов войны. Но нужно пробудить в них гуманность, иначе будет поздно. В комнате больше не шумят, слышен только голос жены и смех гостей.

В соседнем дворе лает собака, ветер издали доносит благоухание зелени.

Медленной и тяжелой походкой он мысленно опять уходит к лесной избушке. Идет спасать в себе человека. В избушке его ждет верный пес.

На сырой лесной тропинке следы чьих-то ног. Он беспокойно осматривает их. Уже давно в избушке живут только он и собака. Давным-давно ушли все родные, исчезла любовь, рассеялись товарищи. Ушли все-все. И вдруг следы, незнакомые следы!

Кто это там? Кто его ждет?

Забывтая любовь... мать... отец... братья... гном... белый волк?.. Они выбегают ему навстречу и исчезают за деревьями. В их взглядах ужас, испуг. Он почти бежит. Протезы не мешают. Они даже помогают мчаться, лететь.

Следов становится больше. Собака уже не лает, она скулит и повизгивает. Ее побили. Побили?! Она никогда не скулила. Она не радуется ему, как бывало, не машет пушистым хвостом. Она поджала хвост и печально смотрит на своего друга. В лесной избушке шум и гвалт. Там смеются, чокаются. Бокалы разбиваются со звоном. Хрустальные осколки, они не ранят, не делают больно. Какая-то женщина рассказывает, что ее супруг в минуты горечи и разочарования запирается здесь, в лесной избушке, и ему хорошо. Все смеются.

Он стоит перед тесовой дверью и не пытается войти. Избушка уже не принадлежит ему. Чужие люди и с ними вместе его жена осквернили ее.

«Сам виноват. К чему было рассказывать о лесной избушке?» Но кому-то нужно было довериться? Нельзя было оставаться совсем одиноким. Ведь эта женщина, так безжалостно предавшая его, была когда-то сестрой милосердия.

Входить в избушку не хочется. Она уже не нужна. Ее отняли, и нет сил вернуть ее. Да и не стоит бороться за нее. Нужно уйти. Хорошо, что ее отняли.

«Ты думал, что сможешь прожить в уединении, в своей лесной избушке? Но пойми, тебе не простят затворничества. Вернись к жизни, выйди на свет. Позвони товарищам, позвони писателю. У него осколок под сердцем, но он не спрятался, не заперся, не живет одними воспоминаниями в ожидании смерти. Оставь свою лесную избушку».

Двойник больше не дразнит его, а пытается посоветовать и утешить. И он мысленно отвечает: «Я уйду. Это решено, хотя мне и больно».

И он отходит от тесовой двери избушки.

Поступь тяжела, протезы мешают. За ним идут из леса его родные и любимая девушка, собака и белый волк детства. Они рады, что он взял их с собой из лесной избушки. Собака бежит рядом с волком, и они весело машут мохнатыми хвостами...

Он с большим трудом снова встает с коляски, осматривает себя и спокойно, очень спокойно открывает дверь в комнату.

Там все умолкают. Жена, что-то весело рассказывавшая гостям, криво улыбается. Он молча проходит между стульями в другую комнату. Здесь двое целуются. Не глядя на них, он подходит к телефону и, набрав номер, ждет.

— Алло, Рубен? Это я, Андраник... Уже давно, очень давно хочется поговорить с тобой... Здоров, здоров... Живу хорошо... А ты?.. Слушай, давай послезавтра, в воскресенье, поедем навестим Вартана. Можем поехать на моем клопике. Я тебе утром позвоню... Нет, завтра не могу. Обещал свезти дворовых ребятишек погулять.

Он не говорит, куда повезет их. Не говорит о лесной избушке. В комнате двое самозабвенно целуются. Он осторожно кладет трубку на рычаг и выходит.

В столовой все замерли, ждут чего-то ужасного. А он так же молча проходит между

отчужденностью и жалостью, слышит скрип своих протезов. Мелькает испуганное, птичье лицо жены, потом чей-то молящий о прощении взгляд. И он думает, что еще не все в этих людях погибло.

На балконе прохладный влажный воздух касается лица. Он прислоняется к перилам и выглядывает во двор. Во дворе никого нет. Ребячий домик залит водой. Но вдруг он замечает, что под балконом, у окна пекаря, собрались ребята. Они ждут, когда перестанет дождь. Он свистит каким-то сложным посвистом — это посвист далекого детства из узкой улочки — и, кажется, слышит ответный свист. Из-под балкона выглядывают ребячьи головы.

— Завтра утром едем, — говорит он.

— Будем ждать твоего сигнала, — отзывается один из ребят.

— Собаку возьмем?

— Там есть собака.

— Как ее зовут?

— Как зовут? — Он никогда не задумывался дать собаке кличку и с ходу решает: — Котот.

Ребята недовольно переглядываются. Странная кличка, сейчас собакам дают иностранные имена.

Он улыбается, машет рукой и насвистывает им сложный сигнал детства. Ребята стараются повторить его. Двор наполняется пронзительным свистом. Кто-то распахивает окно и сердито кричит.

Т рах-тах-тах — залпом стреляют в сердитого соседа.

Сыплет осенний, мелкий дождик. Ребята разбежались по домам, гости ушли, а он продолжает стоять на балконе и не хочет вернуться в комнату.

Пурпурный лист одиноко качается в сумерках на голой ветке дерева. Темень расплзается вокруг, разливаясь как чернила на промокашке. На соседнем балконе зажигают лампу, и в лучах света блестят дождевые нити.

Дождь несет свежий запах разрезанного арбуза. Дождь падает с тихой печалью, а он втиснулся в свою коляску и не хочет войти в комнату.

Жена моет тарелки, нарочно шумя больше обычного. Роняет вилку, ложку, нож и ждет. Ждет, наверное, объяснения.

А он... ожидает рассвета...

Перевели Г. Красина и Н. Манукян

Что значит детство

Мне хочется рассказать о старой ереванской улице, о нашей школе и об одном давнишнем случае из моей школьной жизни. Улица сохранилась до сих пор, но нет уже в живых Ерема, толкшего соль в ступке, который, сидя на пороге своего дома, при каждом ударе пестика приговаривал:

— Без моей соли все вы останетесь пресными и безвкусными.

Нет уже и пары гнедых дядюшки Амаяка, которых он каждое утро впрягал в свою линейку и кричал:

— Но!

Нет уже и многих маленьких мальчиков с нашего двора. Они выросли, пошли на войну и не вернулись, и никто уже не поет:

Дин-дон, дин-дон...

Путь сибирский дальний...

Я закрываю глаза. Так мне легче вспомнить нашу одноэтажную кирпичную школу, учительницу пения — добродушную толстушку Еву Арамовну.

— Ну-ка, станьте п?рами. Начали!

И мы хором затягивали:

Дин-дон, дин-дон...

Слышен звон кандалный.

И грустная песня политкаторжан звучала как марш — победный, дерзкий, а Ева Арамовна говорила:

— Не так, не так, ведь это грустная песня.

Я же всегда пел ее печально, наклонив голову, жалобно тянул, но не говорил Еве Арамовне, что пою я именно так, как она требует.

— Еще раз.

Дин-дон, дин-дон...

Слышен звон кандалный.

С песней входили в класс, рассаживались по своим местам и ждали, а она проходила по рядам, с улыбкой гладила нас по головам и говорила:

— Вот что значит детство! В ваших устах даже грустная песня звучит весело.

Но откуда нам было знать, что значит детство. Мы недоумевали: почему песня должна звучать грустно, ведь сами мы были веселы.

По субботам было мало уроков, и Ева Арамовна водила нас в городской парк собирать осенние листья. По дороге пели песни про рыбку, про озеро, про кошечку, которая съела мацун бабушки, про перелетных птиц и еще грустную песню «Дин-дон, дин-дон», которая здесь, на приволье, звучала еще веселее. Парк наполнялся шумом, мы играли, возились, а учительница садилась на одну из пустых скамеек и терпеливо ждала, когда мы вдоволь набегаемся. Так проходил день за днем, пока не случилось то, о чем я собираюсь вам рассказать.

После зимних каникул пришли мы в школу и увидели новичка, маленького, худенького. Брюки его были в разноцветных заплатках, но прическа с аккуратным пробором вызвала у нас зависть. Глаза мальчика были серьезны и печальны, совсем как у взрослых. Он не спешил познакомиться с нами, даже не сказал, как его зовут. На перемене не побежал, как все мы, во двор, и мы не узнали, в какие игры он умеет играть, и будет ли он участвовать в наших драках с соседним классом.

— Еще один новичок прибавился, а что толку от этого? Видно, слабак и трусишка, попросту Латка-заплата, да и все тут! — таково было заключение заводилы нашего класса Вардана, который употреблял слово «попросту» к месту и не к месту, к чему мы давно уже привыкли. Его шевелюра еще не знала пробора, и, может быть, именно это обстоятельство объясняло, почему Вардан с первого взгляда невлюбил новичка и дал ему обидное прозвище «Латка».

Прозвище новичка и его скромное, тихое поведение как-то соответствовали друг другу. Он не участвовал в наших играх, не вмешивался в драки, на переменах прятался в какой-нибудь угол и читал. В школу он приходил всегда самым первым и уходил последним. Безразличный ко всем, он не стремился сойтись с нами, и Вардан, которого это в душе задевало, как-то раз сказал:

— Любой из нас, имей он столько заплат на брюках, сидел бы прилипнув к парте, попросту с места бы не сдвинулся.

Но новичку заплаты, казалось, вовсе не мешали. Он спокойно выходил к доске, решал задачи, отвечал уроки. Каждый раз мы развлекались тем, что пересчитывали заплаты на его брюках, с надеждой, что их станет больше. Заплата и впрямь становилось с каждым днем все больше, а с их увеличением росло и наше презрительное, насмешливое отношение к тихоне новичку. На уроках пения Ева Арамовна требовала, чтобы все пели, и новичок пел с нами, пел так тихо, что никто не слышал его голоса, и мы не знали, поет он или только шевелит губами. Однажды Вардан задумал такую шутку: как только начнем петь, все разом замолчат, тогда-то мы и услышим голос Латки. Затея наша удалась. Латка, не подозревая о нашем заговоре, одиноко затянул:

Дин-дон, Дин-дон...

Его голос прозвучал так грустно, так печально, что вместо того чтобы засмеяться, мы молчали, а Ева Арамовна задумчиво произнесла:

— Вот как надо петь! А вы грустную песню поете как марш.

Я тоже всегда пел так, как сейчас Латка, но не сказал, что и у меня получается грустно, а если меня не слышно, то виноват в этом не я, а горланящий хор.

— Теперь хор будет лишь повторять припев «Дин-дон, дин-дон», а Ашот будет солировать.

Латка молчал, ничем не выдавая своих чувств, словно ничего из ряда вон выходящего не произошло, и прическа его была такой же аккуратной, как всегда, волосы послушно лежали, зачесанные назад, а наши еще по дороге в школу становились похожи на швабры. Может быть, поэтому Вардан не стерпел и заявил:

— Но ведь вы сами говорили, Ева Арамовна, что в нашем исполнении даже грустная песня звучит весело, и это попросту потому, что мы — дети.

— Да, я действительно так говорила. Но Ашота ведь тогда в нашем классе еще не было.

Все мы оглянулись на Ашота. Этот маленький, худосочный мальчик вдруг показался мне таким же старым, как наш школьный сторож, даже, пожалуй, еще старше. Он не улыбнулся, не возразил, лишь опустил свои грустные глаза и в этот день больше не пел. С того дня мы перестали его называть Латкой. Однажды нам надо было обсудить, как лучше дать сдачи соседнему классу, и мы обратились за советом к Ашоту, а он сказал:

— Лучше всего не затевать драку. Если хотите, я пойду к ним, объясню, что вы не будете драться.

Мы не стали с ним спорить. На большой перемене, когда обычно начиналась драка, мы остались в классе, не вышли в коридор, а Ашота отправили парламентаром в соседний класс. В знак мирных намерений он держал в руках белый носовой платок. Ашот что-то сказал ребятам и показал им свой белый платок. Потом двери закрылись.

Большая перемена подходила к концу, когда Ашот вылетел из соседнего класса. Он прижимал платок к разбитому носу. Волосы были всклокочены, под глазом красовался синяк. Мы не могли оставить безнаказанным избиение нашего парламентарера и, испутив боевой клич, набросились на соседей. Началось побоище. Никто не слышал звонка на урок, мы даже не заметили директора.

— Кто зачинщик этой безобразной драки? — директор строго смотрел из-под очков. — Всех выгоню из школы, если не назовете его! — Он хитро прищурился, словно давая понять, что он уже знает имя главного виновника и лишь испытывает нашу честность.

Ева Арамовна была страшно взволнована, и мы все чувствовали это.

— Так, значит, не желаете говорить? Хорошо. Тогда я вынужден сам назвать зачинщика! Новичок, как тебя зовут? Ишь ты, от горшка два вершка, а на прическу поглядеть — совсем взрослый!

Никто не засмеялся, хотя директор говорил с явной целью вызвать насмешки над нашим товарищем.

— Я согласился принять тебя в свою школу из детдомовской с твердым условием, что, если узнаю хоть что-нибудь плохое о тебе, тотчас же выгоню... Встать! Слышишь? Тебе говорят! Встать! Так... А теперь забирай сумку и ступай вон! Вон из моей школы! — сорвался на крик директор.

Мы все как один встали, взяли сумки и ранцы и приготовились выйти из класса.

— Что такое? — обескураженно спросил директор, повернувшись к Еве Арамовне.

Та не ответила: она сама собирала бумаги. Кто-то из ребят, теперь уж и не припомню имени, крикнул изо всех сил:

— За что вы хотите исключить нашего товарища? Он ни в чем не виноват и никуда не уйдет из нашего класса!

Так оно и случилось. Ашот остался с нами. Он подружился со всеми и рассказал нам о своих родителях, о детдоме. Теперь мы поняли, почему песня «Дин-дон, дин-дон» получается у него такой грустной.

— Мои родители умерли там, в Сибири, здесь я у тетки. Может, потому и получается грустно, а то отчего ж не петь так, как вы.

Мы не спорили, и кто-то из нас сказал:

— Вот что такое детство, даже грустная песня звучит весело в наших устах.

И мы весело расхохотались над сказанными по-взрослому словами, не зная, что в ту минуту незаметно для самих себя попрощались с детством, с тем самым детством, в устах которого даже грустные песни звучат весело.

Перевели В. Власов и С. Казарян

Им еще долго пришлось бы ждать

Она больше всего боялась того, что в двенадцать часов, когда наступит Новый год, она уже будет спать. Не дождавшись Нового года, могут заснуть и ее игрушки: кукла с рыжими косичками, кукла с черными косичками и совсем безволосая. Кто же тогда расскажет ей, как прошел Новый год? Поэтому она посадила кукол в ряд друг возле друга, чтоб ни одна из них не вздумала спать.

А мама заранее передвинула вперед стрелки часов, и, когда везде было без пятнадцати минут восемь, их часы показывали без четверти двенадцать.

Елка уже горела всеми своими огнями, детишки были в сборе, даже куклам не хотелось спать.

— Новый год пришел, Новый год! — позвала мама, дверь широко распахнулась, из соседней комнаты показался папа с белой ватной бородой и палкой.

— Здравствуйтесь, дети, — сказал он, тряся бородой. Папа просто-напросто не знал, каким должен быть дед-мороз, и потому безостановочно тряс бородой.

— Здравствуйтесь, — ответили дети.

— С Новым годом! — сказал папа.

— С Новым годом, дедушка Мороз! — хором отозвались дети.

Потом ватная борода отклеилась от папиного подбородка и упала, и дети засмеялись. Потом все пели, танцевали и, наконец, разошлись по домам. Для них Новый год уже пришел, а на самом деле было всего девять часов вечера, и им еще долго пришлось бы ждать. Отец сказал:

— Как все хорошо получилось. Когда дело касается детей, надо всегда торопить время и переводить его вперед. Они ведь и сами спешат вырасти. А мне бы хотелось, чтоб время шло медленнее, «перевести» его настолько назад, чтоб стать ну примерно такого возраста, как наша дочка.

— А дальше?

— Дальше я стал бы расти.

— И жил бы совсем другой жизнью.

— Нет, почему же. Так же ходил бы в школу, дрался с соседскими мальчишками, снова пережил бы несчастную любовь, потом встретил бы тебя и сказал то, что было сказано много лет назад.

— А я не помню, что ты сказал мне много лет назад, — схитрила жена.

— Наверное, что люблю тебя.

Она грустно улыбнулась, и муж понял, что не говорил этого.

— Ну, значит, что-то в этом роде.

— Нет, — обиженно возразила жена.

— Не может быть, ну тогда, наверное, я это сказал, вернувшись с войны.

— Нет, — сердито отвергла жена.

— И все равно я хотел бы, чтоб все началось снова.

— Без этих слов стоит ли...

С минуту он задумчиво смотрел на нее. «Другие времена были, революция, гражданская война, снова война, но неужели все-таки не сказал?» — удивился он.

— Ну и что же, что не сказал. Ведь это было понятно и без слов.

— Было понятно, — согласилась жена.

Потом она ушла накрывать на стол, а муж сел за письменный стол и принялся работать.

До двенадцати оставалось несколько минут.

— Скоро Новый год, — сказала жена, входя в комнату. Он наполнил бокалы коньяком и протянул один жене.

— Значит, так и не сказал? — спросил он задумчиво.

— Нет.

— Тогда действительно не стоит переводить назад время, — пошутил он и, подойдя к жене, шепнул ей на ухо: — Я люблю тебя...

Она улыбнулась:

— Я всегда это знала.

— Тогда зачем ты заставила меня сказать об этом? — удивился он.

— Наверное, старею...

Перевела Е. Алексанян

Вчера еще чувствовалось дыхание весны. Вчера в солнечных глазах весны таяли ледяные слезы. Люди деревянными лопатами счистили снежную шапку с нашей крыши и бросили ее в угол двора. А сегодня снова пошел снег. Я перелистываю страницы книги, где весна обречена на бумажный плен. Хочу ощутить ее дыхание, услышать беспокойное жужжание пчел, но не нахожу в книге ничего, кроме разных премудростей. Я закрываю мудрую книгу и гляжу в окно. Снова солнце топит алмазные глыбы льда, янтарные лучи, дробясь, проникают через стекло. Вокруг все полно каким-то мелодичным звоном. Во дворе из-под снежной кучи стены выбегает струйка воды. Она уносит с собой блеклый бумажный цветок, тщетно тосковавший по весне. Напротив в окне молодая женщина гладит цветастое платье. Весна и близко, и далеко. Снег еще упорствует, но старый садовник уже спешит воткнуть в цветочную клумбу жестяные таблички: «Траву не топтать», «Цветы не рвать...» 2

В дождливой луже умывался воробей: весна уже близко. Умывшись, он присел на карниз под солнышко, потом вспорхнул на молодую, гибкую веточку. Ветка закачалась, согнулась. Весна была такой молодой.

По улице веселой гурьбой шли ребяташки. В руках у них зеленые прутики с пушистыми подушечками почек. На одной из подушечек отдыхала пчелка: она тоже готовилась к встрече весны. Где-то бесшумно лопнула почка; только пчелка услышала легкий шорох и радостно жужжала: «Жж-ж — это я принесла весну».

«И вовсе нет, — прошептала покрытая росой молодая травка. — Видишь, как я вспотела, думаешь, легко мне было поднять весну из-под земли».

И разгорелся нескончаемый спор. Зачирикали воробьи, зашептала трава, почки стали лопаться: «Это мы принесли весну, весна спала в наших чашечках...» 3

Много лет назад тоже была весна, ранняя весна. В синем небе ни облачка, ни морщинки, только чертит крылом раньше срока прилетевший аист. А на голых ветках пробивается до неправдоподобия нежная и прозрачная зелень. Пожелтевший прошлогодний лист дрожит на дереве, но не падает, он тоже хочет почувствовать, как рядом разбухает каштановая почка.

Я следил взглядом за этим листом, как вдруг незнакомая девушка распахнула окно и сказала: «Какой смешной, волосы торчат, как у ежа».

С того дня я подолгу стоял перед зеркалом и пробовал пригладить непослушные волосы. А мама с досадой говорила: «Влюбился ты, что ли?» Волосы мои, наконец, покорились, и я полюбил... другую девушку.

Сейчас снова весна, я стою перед зеркалом, пытаюсь пригладить волосы... которых нет, и вспоминаю ту давно прошедшую весну...

Перевела Е. Алексанян

Отметки на двери

Эта дверь многое видела, дорогая Ирина, она старше тебя, меня и твоего папы, она старше даже твоего дедушки. В эту дверь много лет назад ушел твой отец и спустя много лет вернулся вместе с тобой. Ты тогда только что родилась, вы приехали с дальнего Севера.

Здесь в дверях часто сидела твоя бабушка, то есть мама твоего отца и моя мама, и ждала возвращения своих сыновей. Потом на ней появились отметки: мы становились у двери, и наш отец, то есть твой дедушка, отмечал, насколько мы выросли. Каждый Новый год твой дедушка делал новую отметку, пока мы не подросли. Потом пришли маляры, покрасили двери, и все отметки исчезли. Теперь мы уже постарели и больше уже не растем. Теперь дедушка почти одного с тобой роста, а было время, когда дедушка был мужчиной среднего роста, хотя этого не помню даже я.

Значит, так: многое видела эта дверь, и теперь каждый Новый год на ней отмечают твой рост. Ты растешь, теперь ты уже выше дверной ручки. Твои передние молочные зубы выпали, и бабушка хранит их в кармане фартука, зубки, которые вырвали тебе катушечной ниткой. Какое это счастье — с помощью катушечной нитки избавляться от всего того, что тебе мешает в жизни. А нам, взрослым, нелегко избавляться от больных зубов, от своих огорчений и горестей. Мы уже больше не растем, никто не измеряет наш рост, и это хорошо, что не измеряют...

Новый год. Ты снова стоишь, прислонившись к косяку двери, и ждешь, чтоб папа сделал на ней новую отметку. Ты уже выше дверной ручки. Ты откинула голову и поднялась на цыпочки. Твоя золотистая головка поблескивает в молочном свете зимнего дня. На двери делают новую отметку, отметку о твоём росте в Новом году, и оказывается, что за прошлый год ты выросла на два пальца. Весь дом ликует, все радуются, ты гордо отходишь от двери, на которой в свое время отмечали, насколько выросли мы, и я невольно думаю, как хорошо, что на земле мир.

Но ты прервал мои мысли:

— Я буду еще много-много расти, — сказала ты, — я вырасту такой большой, что на дверях больше нельзя будет делать отметки, придется делать их на небе.

Пусть будет так, моя златокудрая, маленькая Ирина, пусть каждый Новый год несет с собой мир, ты будешь расти вместе с нашей страной, и отметку роста твоего поколения будут вычерчивать в небе, в космическом пространстве.

Перевела Е. Алексанян

Рассказ о маленьком мальчике и немолодом шофере

У самого въезда в рабочий поселок на крутом спуске — гостиница. Постояльцев в ней всегда бывает очень мало, и потому каждого, кто хоть раз переночевал здесь, помнят долго, пока не придет новый. Вот в этой-то гостинице жила дежурная, одинокая женщина с сыном. В этой гостинице я и устроился на ночлег.

Всю свою жизнь я мечтал о путешествиях, мечтал увидеть чужие страны, незнакомые города, но за пределы своей маленькой Армении ни разу не выезжал. Люди думают, что шофером я стал просто потому, что неспособен был ни на что лучшее. Станные бывают люди. Они готовы обвинить человека даже в незнании самого себя. А между тем я отлично изучил себя, настолько хорошо, что часто, стоя перед зеркалом, говорю: наверное, ты самый некрасивый человек на этом стареньком земном шаре, иначе почему никто до сих пор не обратил на тебя внимания. И еще... у тебя хорошее сердце.

Думаете, неправда это? Снова ошибаетесь. Это самая чистая правда, иначе я мог не заметить дежурную гостиницы и ее сына, чудесного малого.

В первый же день, когда, остановив машину перед гостиницей, я поднялся наверх, в вестибюле навстречу мне вышел мальчик и, улыбаясь, спросил:

— Ты издалека, дядя?

Я удивился:

— То есть как это издалека?

Мальчик достал из кармана смятую, истрепанную на сгибах карту, расстелил ее на столе и, водя пальцем по разным городам земли, которая на карте была совсем не круглой, спросил:

— Из Лондона, Парижа, Нью-Йорка или Москвы?

Я понял, я все сразу понял и сказал:

— Сейчас из Еревана.

Мальчик снова склонился над картой:

— Я не видел Еревана.

Как раз в это время в комнату вошла его мать.

— Как хорошо, наконец-то у нас гость, — сказала она. — Вот уже месяц никого не видно, и мой сынок путешествует в одиночку. Вы любите путешествовать?

— По карте? — спрашиваю я.

— Хотя бы и по карте, что тут такого?

Действительно, что тут такого, думаю я и мысленно ругаю себя. Что в этом, спрашивается, такого, если кто-то путешествует по карте. И мне хочется сказать, что я и не думал над ним смеяться, мне хочется сказать именно это, но я говорю:

— Люблю, хотя бы и по карте.

Женщина улыбается мне, и вдруг я замечаю, что она хороша, удивительно хороша собой, а я некрасив, и, наверное, именно потому она улыбается мне: ведь мне никогда и в голову не придет, что я понравился ей, нет, не придет, хотя я и не перестаю удивляться, почему это женщины придают такое большое значение мужской внешности.

— Дядя, а вы знаете, что я уже путешествовал по всему миру, побывал во всех городах и всюду у меня есть друзья.

— Знаю, — говорю я и вспоминаю детство. В школе я любил рассказывать о странах и городах, вычитанных из книг, а товарищи говорили мне: сочиняешь. Я возвращался домой и плакал от обиды, тут же решая ничего не рассказывать, но на следующий день все начиналось сначала. Но случилось так, что один мой одноклассник стал капитаном дальнего плавания, другой — научным работником, третий — директором, а я — шофером. И теперь при встрече они как-то снисходительно улыбаются и говорят: «Ну, как живешь, фантазер? Недавно собрались старой компанией, вспоминали тебя». «Вспоминали, — повторяю я про себя, — конечно, пригласить не подумали, только вспоминали».

— Я был во всех этих городах, — снова говорит мальчик, водя пальцем по карте, — да, был, у меня там друзья, и они ждут меня к себе.

— Он прочел все книги о путешествиях, — говорит его мать, записывая в толстую

гостиничную книгу мою фамилию и номер паспорта. — Вы еще не женаты? — удивляется женщина и поднимает глаза. Наши взгляды встречаются. Я люблюсь ее миндалевидными серыми глазами и не отвечаю ни слова, словно онемел, а она, вместо того чтобы рассердиться, опускает ресницы под моим пристальным взглядом.

«Вот тебе на, оказывается, ты все-таки можешь кому-то нравиться», — думаю я. Я сказал — кому-то, но чувствую, что сказал неправду, потому что это первый случай, когда женщина, не сердясь, опускает глаза под моим взглядом. Да, первый случай.

— Наверное, вы много путешествуете и потому не успели жениться, — вдруг говорит мальчик, — все путешественники поздно женятся, — добавляет он с видом знатока.

И я ничего не говорю о том, что никогда не выезжал за пределы своей маленькой Армении, не женился потому, что не нравился женщинам. Я молчу, ведь ребенок думает, что я бывалый путешественник, а мать его опустила глаза...

Вечером, нагрузив машину, я останавливаю ее во дворе гостиницы и поднимаюсь наверх. Я сейчас здесь единственный постоялец, и в моем распоряжении лучший номер, но я не вхожу в комнату, сажусь в вестибюле в кресло и принимаюсь ждать: сам не знаю, кого я жду, сына или мать, которая с кем-то разговаривает во дворе. Входит мальчик. Впервые я внимательно смотрю на него и вдруг замечаю, что глаза у мальчика удивительно большие, и от этого кажется, что на лице, кроме глаз, ничего нет. Мальчик здоровается со мной, садится рядом и тут же спрашивает:

— А на острове Таити вы были?

Я на мгновение задумываюсь и в свою очередь спрашиваю:

— А что?

— Ничего, — говорит мальчик, — там растут замечательные бананы.

Я никогда не ел бананов, но от удовольствия качаю головой и говорю:

— Очень сладкие бананы.

— А искателей жемчуга в Персидском заливе встречали?

Я снова задумываюсь: что же мне отвечать?

— Нет, не встречал. Был вечер, и искатели жемчуга уже разошлись по домам.

— Жалко, — говорит мальчик.

По его серым глазам я вижу, что он обдумывает новый вопрос. Спешу опередить его и начинаю рассказывать, как очевидец, о странах, которых не видел, об Африке, об охоте на львов и диких буйволов. Рассказываю о маленьких копьях пигмеев и леопардах, пронзенных ими насмерть, а он улыбается и говорит:

— Сейчас уже не охотятся с копьями, ведь есть винтовки.

Сбитый с толку, я умолкаю, а мальчик достает из кармана свою измятую карту, расстилает ее на столе и снова склоняется над желтой Африкой.

— В Африке сейчас невыносимая жара, — говорит он, — здесь у подножья Килиманджаро пасутся стада антилоп.

Мальчик не мигая смотрит на Африку. И мне чудится, что я вижу стада диких антилоп, зебр,

страусов, мчащихся по равнинам Африки, слышу глухое рычание львов, жуткое завывание шакалов и гиен. Склонившись над картой, мы уже блуждаем по джунглям, идем слоновьей тропой, а впереди нас, размахивая своими маленькими копьями, бегут пигмеи.

— Выпьете с нами чаю? Столовая уже закрыта.

Я поднимаю голову от карты, дежурная гостиницы стоит рядом с нами. Ее миндалевидные серые глаза мягко улыбаются, и наши взгляды снова встречаются. Она опускает голову. «Какой я дурак, — не всегда о людях судят по внешности», — заключаю я мысленно.

— С удовольствием, — сразу соглашаюсь я и прибавляю: — Если вы позволите, я возьму мальчика с собой в город и через несколько дней привезу обратно.

— Все так говорят, но никто не берет.

— Возьму, обязательно возьму, — уверяю я.

Мальчик от радости поспешно складывает карту, уместив весь мир в кармане, и выбегает из комнаты. Утром мы уезжаем: это его первое путешествие. Мы вместе ездим по городу, бродим по улицам, и я думаю: скоро мы вернемся назад, и, если мать его снова улыбнется мне и потупит свои миндалевидные серые глаза, тогда мы, я и этот маленький мальчик, поедем путешествовать, увидим незнакомые города, новых людей и вернемся домой, где нас будет ждать мать мальчика. Мальчик достанет из кармана карту, и мы расскажем ей об удивительных странах, об острове Таити, искателях жемчуга в Персидском заливе, антилопах и львах в джунглях Африки. Расскажем и примемся мечтать о новых путешествиях, а она приготовит нам чай, душистый, свежий чай.

Перевела Е. Алексанян

Рассказы, написанные на полях

Когда я был маленьким, я не умел переносить слова и часто заходил за линию полей. Сперва заходили только буквы, потом слоги, а учительница говорила:

— Поля в тетрадках сделаны для того, чтобы я на них красным карандашом отмечала твои ошибки.

Но у меня все-таки заходили за поля сперва только буквы, потом слоги, а потом и целые слова, и я сам не заметил, как мало-помалу стал писать на полях тетрадок рассказы.

Взрослые хитрее. Поля они оставляют перед началом строк, я же так и не научился оставлять поля ни справа, ни слева от строчек и вот что написал там, где полагалось быть полям: Морковка

Стояла осень. По нашей улице шел ослик. Через его спину был перекинут пестрый хурджин, из которого высывались оранжевые и красные морковки, похожие на язычки огня.

Мальчик, увидев ослика, хурджин и морковку, похожую на язычки огня, радостно крикнул:

— Папа, смотри, сколько морковок в карманах у ослика!

Стояла осень. По нашей улице шел ослик. Отец невольно сунул руку в карман, но ничего там не нашел. Он задумался, а потом сказал:

— Ну и что же? Мало ли что лежит в чужих карманах! Ножи

В каждом доме среди разных ножей оказывается один, который режет лучше других, хотя от частого употребления лезвие его бывает стертым, а ручка чаще всего сломанной.

Такой ножик был и у нас. Мама посылала за ним:

— Ну-ка, принеси тот нож: этот не чистит картошку.

Отец просил:

— Принеси-ка тот нож: надо поточить карандаш.

Брат говорил:

— Найди-ка тот нож...

А я думал: «Если бы этот нож был моим, я бы всех победил!»

Старый острый нож жил на кухне, тогда как другие ножи хранились в комнате, в шкафу. И хотя они были тупы и ничего не умели резать, по праздникам они все-таки оказывались вместе с ладонями гостей на столе, обменивались ломтями, звонко беседовали с вилками и самодовольно сияли, явно считая, что мир померк бы без их блеска. А тот — старый — оставался на кухне, забытый всеми.

Но однажды во время праздничного ужина мама сказала мне:

— Пойди принеси тот нож.

Я поискал, но на кухне ножа не оказалось. Я заглянул под стол, но и в невымытых тарелках, стоявших там, его тоже не было.

— Нож пропал, — сказал я маме.

— Поищи хорошенько, обязательно найдется. Куда он мог деться?

Я снова поискал.

А ножик и в самом деле исчез. Да и почему бы ему было не исчезнуть? Он трудился и уставал больше всех, но никогда не оказывался на столе вместе с руками гостей. Тупым, но блестящим ножам оказывали почет и уважение, а острый нож встречался со своими братьями только после ужина, когда их, грязных и замасленных, приносили помыть и снова натереть до блеска. Они весело шумели среди невымытых тарелок и насмеялись над острым ножиком: «Смотрите, какой у него зазубренный край. И ручка сломана...» Глупый смех тупых ножей, должно быть, огорчал и печалил моего любимца. Я был уверен, что старый ножик обиделся и ушел от нас, и сказал об этом маме. Мама засмеялась и сказала:

— Этого не может быть. Как мог уйти нож?

Сейчас, когда мне уже много лет и я твердо знаю, что ножи обижаться не могут, я почему-то верю, что моя детская догадка была правильна.

Перевели В. Власов и Н. Манукян

Который час

Крохотная, смуглая до черноты девчушка стоит на краю тротуара. Передних зубов у девчонки нет, она широко улыбается, радуясь чему-то своему.

— Который час?

Парень с девушкой останавливаются. Откуда здесь, в такой поздний час, взялась эта девочка ростом с мизинчик, что она здесь делает?

— Который час? — переспрашивает парень и смотрит на подругу. Они не знают, они давно потеряли счет времени. Целовались — и потеряли представление о времени, а часов у них нет.

Ребенок весело смеется, словно все ему понятно, и, не дожидаясь ответа, отворачивается, радостно смотрит глазками-маслинками на вышедшего из-за угла, размашисто шагающего прохожего.

— Который час?

— Который час? — человек останавливается. «Вот тебе и раз, и сегодня я опаздываю, дома опять будут ворчать, мол, с гимном уходишь, с гимном возвращаешься». — А зачем тебе знать, сколько сейчас времени?

В щербинке розовато сияет десна, девчонка не отвечает, стремительно поворачивается к женщине, идущей навстречу, и снова задает свой вопрос:

— Который час?

У женщины сжимается сердце, она останавливается:

— Детьнышка моя хорошая, чья ты, откуда? — спрашивает женщина, а сама, наверное, думает: «Вот бы мне такую!»

Ребенок твердит свое:

— Который час?

— Поздно, деточка, домой пора.

Приближается новый прохожий, и ребенок кидается к нему:

— Который час?

У человека в руках папка, он смотрит на девочку, потом подносит к глазам руку с часами и отвечает:

— Сейчас семнадцать минут десятого, точнее, восемнадцать минут десятого, мои часы отстают на минуту.

И уходит.

Улицу перебегают мальчишка.

Девочка кричит ему вслед:

— Который час?

Мальчишка замедляет бег, понимающе смотрит на девочку.

— Который час? Мышиный спас, — роняет он на ходу и мчится дальше.

Ребенок заливается радостным смехом и стоит на краю тротуара, чтобы еще и еще спрашивать всякого, кто пройдет мимо:

— Который час?

Перевела К. Кафиева

Солнышки

Нынче весне чего-то не хватает. Может быть, неба, заполненного солнышками с детского рисунка. Одно солнце — как этого мало! И почему должно быть всего одно, если на рисунке малыша, лежащем передо мной на столе, одно солнышко всходит из-за домика, другое сияет в зените, третье зацепилось за балкон, а дети, вышедшие встречать весну, тянут за собой на ниточках разноцветные солнышки.

Смотрю на единственное Солнце Весны, всходящее из-за крыш домов, зажимаю глаза и говорю себе: вовсе одного и не мало!

Но вот уже два солнца сияют на носках моих до блеска начищенных туфель, два другие заставляют меня на миг еще плотнее зажмуриться, на пиджачной пуговице сверкает еще одно.

Вдруг я замечаю, что белые айсберги облаков медленно надвигаются друг на друга, стараясь заслонить собою единственное Солнце Весны.

Хватаю со стола разрисованный солнышками детский рисунок и стараюсь им преградить дорогу облакам...

И спешат нарисованные ребенком солнышки помочь тому одному-единственному Солнцу.

Перевели В. Власов и Н. Манукян

Самая веселая собачка

Очень веселая была собачка, вы не знаете, какая она была хорошая, никто не лаял звонче ее, никто не бегал быстрее ее и ничей хвост не торчал такой завитушкой.

— Ну и что же с ней случилось?

— Что случилось? Пропала.

— Где?

— Здесь.

Ребенок показал на кусты.

— Пойдем искать, — сказал я.

— Нет, она здесь.

— Хорошо, как же ее зовут? Будем звать.

— Жучка.

И мы вместе позвали:

— Жучка, Жучка...

Из кустов вышла собачка с черным, как спелый инжир, носом. Но она не успела спросить, что нам нужно, потому что, откуда ни возьмись, прилетела пчела и угрожающе зажужжала над ее головой. Собачка скосила глаза и застыла на месте, а когда пчела улетела, облегченно вздохнула, повернулась к нам и молвила — гав — то есть что вам нужно?

— Это Жучка? — спросил я.

— Этого не хватало, — обиженно ответил мальчик.

И мы снова вместе позвали:

— Жучка, Жучка...

На этот раз в конце аллеи показалась другая собачка, с кривыми ножками. Она сердито твякнула — то есть почему вы мне мешаете? И побежала к поджидавшей ее поодаль дворняжке, у которой уши были обрезаны и голова, как заметил когда-то мой племянник, увидев подобную собаку, была похожа на болгарский перец.

В парке больше не было ни одной собаки, и я подумал, что непременно кто-то другой увел Жучку мальчика. Но я ничего об этом не сказал, потому что ребенок, опечаленный, продолжал смотреть вокруг и еле слышно умоляюще шептать:

— Жучка, Жучка, где же ты?

И вдруг глаза мальчика заблестели, он прыгнул в кусты и весело воскликнул:

— Вот ты где спряталась!

Я остолбенел от удивления: из кустов ребенок вытащил резиновую собачонку с хвостиком-завитушкой, крепко прижал ее к груди, потом вместо нее гавкнул несколько раз и помчался по аллее.

Я стоял и смотрел ему вслед, невольно думал: «И вправду, собачка мальчика самая веселая, самая быстроногая, лающая звонче всех, с самым красивым хвостиком-завитушкой».

— Гав, гав, гав... — бегал мальчик по аллее. — Гав, гав, гав... — бегал он, обняв резиновую Жучку.

Перевела С. Казарян

Скучный человек

В саду, возле скамейки, на которой сидел человек в кителе, играли дети.

— Знаете, почему шарики не поднимаются? — спросил один из мальчишек, ему никто не ответил «знаю», никто не спросил «почему», и он продолжал. — Мой дядя говорит, если шарики поднимутся, ребяташки вместе с ними улетят в небо, и наш город станет самым скучным городом.

— Ну и хорошо... — забормотал человек в кителе.

Дети с удивлением взглянули на него — непонятно, спит он или нет, — и продолжили игру. Сперва они у скамейки мелом нарисовали что-то, потом начертили классы. Но одна из девочек топнула ножкой и сказала:

— Я не играю. Плохо начертили.

На девочку никто не обратил внимания, и она топнула сильнее:

— Сказала, не буду играть.

Но опять на нее никто не обратил внимания, и девочка, недовольная, ушла.

Потом один из мальчишек сказал, что у него есть большая-пребольшая лошадка, больше автобуса, и она ест каждый день по три дерева травы.

Человек в кителе, который, казалось, дремал, приоткрыл глаза и буркнул:

— Таких лошадей не бывает.

Дети с удивлением посмотрели на него, но он тут же закрыл глаза, и они продолжили игру. Тот мальчик, который начал первый, снова сказал:

— Мой дядя говорит...

— Почему всегда говорит твой дядя, а не папа? — спросила одна из девочек.

Мальчик не ждал такого вопроса, на миг смутился, потом ответил:

— Потому что мой папа погиб на фронте. Дядя говорит, что он принесет мне воздушные шарики, я привяжу их к корзине, сяду в нее и поднимусь выше облаков, а потом проколю шарики по одному и спущусь на землю.

— Так не бывает, — не открывая глаз, забормотал человек в кителе.

И чтобы человек в кителе поверил, что так бывает, ребяташки сбились в кучу, пошептались и решили играть в самолет. Широко раскинув руки, они стали летать, жужжа носиться взад и вперед.

Глаза у человека в кителе были закрыты, и не увидел он, как пронеслись ребята над облаками, как поднялись ввысь и стали парить в небесной синеве.

Перевела С. Казарян

Волка нет

- Дед-мороз идет по лесу, а за ним твой папа, зайчик, белочка, лисичка и волк.

— Волка нет, — решительно отрезал мальчик.

— Как это?

— Нет, и все, его вчера убил дядя охотник.

— Кто тебе сказал?

Ребенок на мгновение задумался, вернее сделал вид, что думает, и таинственно шепнул:

— Собачка сказала.

На лестнице слышались шаги. Мать и сын прислушались. Кто-то подымался вверх.

— Кто это был? — спросил мальчик.

— Гарсеван, который живет в дымоходе, он пошел зажигать звезды.

— Папа, наверное, заблудился в лесу.

— Наверное, — сказала мама.

За окном кружились пушистые снежинки. Мальчик взял лист бумаги и мел и попробовал их нарисовать. На белой бумаге снежинки не получались. Мальчик огорченно прикусил губу.

Серебро вечера поблекло, сумерки сгустились. Темнота, подобно любопытному ребенку, прильнула к стеклу. Мальчик посмотрел в окно и увидел свое отражение, потом на стекле засияла огнями елка, и он обрадовался.

Там, за окном, сидел очень похожий на него мальчик со своей мамой и елкой.

Он встал и подбежал к окну, «тот» мальчик побежал ему навстречу. Они взглянули друг на друга, потом прильнули к стеклу, и тогда мальчик за окном исчез. Теперь он видел улицу и большие пушистые снежинки, которые медленно опускались на землю.

— Папа несомненно заблудился в лесу, а дед-мороз вернулся и ищет его. Из-за папы Новый год несомненно опоздает, — грустно сказал мальчик, не отрываясь от окна.

Мама засмеялась, конечно же она засмеялась над словом «несомненно».

— Откуда ты взял это «несомненно»?

— Так говорит Вага. Он говорит: мы несомненно будем кататься на Луне на велосипеде. Несомненно мы будем жить, где только захотим...

Мать обняла сына, мальчик увидел в окне отражение мамы, елку и сказал:

— За окном есть еще одна ты, я и наша елка. Несомненно теперь везде — я, ты и наша елка.

На лестнице слышались шаги.

— Кто там? — спросил мальчик. У двери слышался знакомый звонок: два коротких, один длинный.

— Это папа, — сказала мама и весело побежала в переднюю.

— Подожди. Я спрячусь, потом откроешь. А если спросит, где Ашотик, скажешь: пошел в лес искать тебя, несомненно скажешь.

— Хорошо.

Мать открыла дверь. Из-под стола Ашотик увидел, как вошел папа, стряхнул с шапки снег и спросил:

— Где Ашотик?

— Пошел в лес тебя искать.

— А-а, — многозначительно протянул папа, потом подошел к столу и стал совсем близко от Ашотика. От папиной одежды тянуло холодом. — Это веселая-превеселая девочка-кукла, — сказал отец и поставил одну игрушку на стол.

Ашотику очень хотелось увидеть веселую-превеселую девочку, но как? Ведь он в лесу и теперь зажигает спичку за спичкой, чтоб найти отца. Ашотик пожалел, что в кармане у него нет спичек. Он еще сильнее обнял колени, чтобы случайно не выскочить из-под стола.

Потом папа что-то еще достал из кармана.

— Что это? — спросила мама.

— Это тебе, любимая, без тебя я бы заблудился в пути.

«Наверное, коробка спичек, — подумал Ашотик, — несомненно папа принес коробку спичек, чтоб мама осветила лесную дорогу». Ашотик опечалился: ему не разрешают трогать спички.

— А это, — сказал папа, доставая из кармана еще одну игрушку, — волк.

Ашотик хотел крикнуть, что волка нет, но промолчал.

— Где Ашотик? — снова спросил отец.

У Ашотика сильно забило сердце: неужели мама забыла?

— Я ведь уже сказала, — рассердилась мама, — ты опоздал, и он пошел в лес искать тебя.

— Зачем отпустила? А если на него нападет волк?

Ашотик больше не мог усидеть на месте, он выскочил из-под стола, обнял отца и изо всех сил крикнул:

— Волка нет.

— Как это? — удивился папа.

— Нету, его вчера убил дядя охотник.

На лестнице слышались шаги.

— Кто там? — спросил мальчик.

— Это Гарсеван пошел зажигать звезды, — сказал папа.

— Он уже зажег звезды, — возразил мальчик и показал на огни елки, дрожащие на стекле.

За окном, на черной канве ночи, четко вырисовывалось отражение этой маленькой

счастливой семьи: сын, отец, мать и большая новогодняя елка. Изображение стало множиться, как будто много-много таких семей вот так сидят сейчас у елки, и в этом чудесном счастливом мире есть все, кроме волков.

Все трое смотрели на свое отражение в окне и весело смеялись. Вместе с ними смеялась веселая-превеселая девочка-кукла, но ее смех слышал один только маленький Ашотик, который понимал язык игрушек, а игрушки понимали его.

Перевела Е. Алексанян

Такси

- Я только что из командировки, — оправдываясь, сказал пассажир, проводя рукой по заросшему лицу, — боялся опоздать, но вот все-таки успел. У меня уже два сына, а у вас? — в его голосе чувствовалась гордость.

— Я развожу людей по домам.

Пассажир внимательно взглянул на водителя и удивился. Ему было едва сорок лет, а на голове уже густо серебрилась седина. «Он был на фронте», — решил пассажир.

До Нового года оставалось десять минут. Такси остановилось перед новым домом, потом вновь вспыхнул зеленый глазок, машина медленно заскользила по асфальту.

— Такси!

Водитель затормозил машину.

— Первый роддом, — запыхавшись сказал молодой человек.

У больницы водитель вышел из машины.

— Здесь работает ваша жена? — спросил юноша.

— Она могла бы здесь лежать, но... нет, я просто хочу увидеть того гражданина, которому в двухтысячном году будет столько же лет, сколько мне сейчас, и ни одного седого волоса.

Юноша не понял водителя и не удивился его рано поседевшим волосам, потому что сам был еще очень молод.

Перевела Е. Алексанян

Морские камушки

Это знают все — то, что живет на свете, рано или поздно умирает и больше не возрождается. Как-то прошлым летом случилось мне собрать морские камушки — яркие, разноцветные... Но когда я вынул их из воды и положил на горячий от солнца песок, они потускнели.

Я растерялся, огорчился... Эти камушки я принес домой, и они, мертвые, лежали на моем столе, пока один из друзей, который всегда собирал морские камушки, не сказал мне:

— Положи их в воду.

Я бросил камушки в стакан с водой. Они ожили, заиграли.

И теперь я не знаю, правда ли то, что знают все...

Смотрю на цветные камушки в моем стакане и думаю о том, что где-то обязательно должен быть стакан воды, оживляющий все. Я думаю о том, что жив каждый ушедший год, что все прошлые дни — это морские камушки, а время — море...

Так мне думается, и я не хочу никому говорить «прощай», а только— «до свиданья!».

«До свиданья» — всему прекрасному, что живет на свете.

Кто знает, где и когда мы сами снова заживем, возродимся?

Перевела К. Кафиева

Воробушки

Серые воробушки сидят на голой ветке дерева, и кажется, что на ветке — листья.

Если зима неизбежна, пусть она приходит так. Пусть взамен каждого опавшего листка на ветку сядет воробушек.

Пусть так и приходит зима, если уж ей непременно надо прийти.

Перевела К. Кафиева

Лес

Под моим окном разговаривают друг с другом два человека. У каждого из них на плече — елка. Ветви елок переплелись и тоже разговаривают друг с другом.

Мне не слышно, о чем беседуют люди.

Я не слышу, о чем беседуют елки. Но почему-то мне кажется, что одна елка говорит другой:

— В моих ветках еще слышен шум леса. Зимний лес, летний лес...

— Лес... — вздыхает вторая.

— Лес... — откликается первая ель.

И мне хочется, чтобы люди не расставались друг с другом, чтобы человек жил рядом с человеком, елка — с елкой, и чтобы никто не вздыхал в тоске: «Лес...»

Перевела К. Кафиева

Бумажный кораблик

В луже, оставшейся после дождя, плавают кораблик, сделанный из тетрадного листка. Я был свидетелем многих крушений, и мне страшно за этот кораблик.

— На помощь, на помощь, на помощь, корабль перевозит матерей с детьми! — тревожно выкрикивает какой-то мальчишка. Остальные кидают в воду камни, вызывая волнение, шторм.

— Корабль заблудился в тумане, мне ничего не видно, прожектора уже не помогают, — отвечает один из мальчишек, и они начинают подкидывать в воздух зажженные спички. Спички падают в воду, гаснут, шипя, и плывут по воде. Кораблик накренился, и я вижу написанную на его боку и уже почти размытую арифметическую задачу, которую много лет назад я так и не смог решить.

Мне обидно и грустно — за кораблик и нерешенную задачу. Но стоящая рядом девчушка удивленно говорит мне:

— Дядя, вы не верьте — там никого нет, честное слово, никого нет.

И я улыбаюсь ребенку, который и не подозревает, как драгоценен груз бумажного кораблика, как дорог этот груз, который называется детством.

Перевела К. Кафиева

Сердце

Дети лепили снежную бабу, и, когда все было уже готово, мальчик с веснушками на лице сказал, шмыгнув носом:

— А сердце? Без сердца снежный человек не сможет жить.

Все с ним согласилось, и оживленная работа приостановилась. Самые маленькие, которые подносили снег, беспомощно затоптались на месте.

— Нужно горячее сердце, а то ночью снежный человек замерзнет. И еще нужно, чтоб сердце было доброе, тогда он нас сразу полюбит и будет рассказывать нам сказки, — сказал мальчик, у которого только что прорезались два передних зуба, и все с ним тут же согласилось, потому что он учился во втором классе.

— Ну, скорей принесите сердце, — сказал он детям.

Ребята рассыпались кто куда. Первой вернулась маленькая, очень маленькая Нуник. Она шла осторожно, крепко зажав что-то в кулачке. Нуник не ходила домой, постояла немного на лестнице в подъезде и вернулась.

— Что у тебя в руке? — спросил второклассник.

— Сердце.

— А ну-ка покажи.

Нуник разжала кулачок. На ладони ничего не было, но мальчик понял, что в этом маленьком кулаке действительно бьется самое красивое сердце, самое хорошее, самое горячее. Он бережно взял у Нуник сердце и вложил в грудь снежного человека. Нуник гордо встала рядом с второклассником, и они принялись вместе ждать.

Потом появилась Арпик с первого этажа.

— У тебя что? — спросил второклассник.

Арпик достала из кармана кусочек свинца и протянула мальчику.

— ???

— Во время войны это достали из папиного сердца.

— Хорошо, — понимающе кивнул мальчик, укладывая новое сердце рядом с Нуникным.

Теперь они ждали втроем.

Из подъезда выскочил веснушчатый мальчик.

— Бери, — сказал он запыхавшись, протягивая сердце — подушечку для иголок. Пальцы у него были в крови.

— Почему на сердце кровь?

— Это иголки искололи сердце.

— Ничего, — успокоил его второклассник, и снежный человек получил еще одно сердце.

Последней пришла пятилетняя Арус. Ее пришлось дольше ждать, потому что она жила на четвертом этаже и спускалась по лестнице очень осторожно.

Она принесла маленькую гуттаперчевую куклу.

— Это Анаит, она мне рассказывает сказки и очень любит всех детей, — сказала она, отдавая куклу.

— Я ее знаю, — сказал второклассник, — она к нам вчера приходила.

Арус удивленно посмотрела на куклу:

— Когда это ты успела, шалунья? — Она приложила ухо к лицу куклы, чтоб услышать, что она ответит, и повторила за нее: — Говорит, что я в это время была в школе.

— Ты ведь еще не ходишь в школу, — возразил веснушчатый мальчик.

Арус чуть не заплакала от обиды.

— Хожу, наша школа около письменного стола моего папы.

— Конечно, ходит, — подтвердил второклассник, и Арус засияла от удовольствия.

Куклу положили рядом с другими сердцами, потом из двух угольков сделали глаза, вместо носа воткнули морковь, но, когда снежный человек был уже совсем готов, мать увела домой Арус, а мальчика с веснушками позвал вернувшийся с работы отец:

— Я купил тебе книжки, пошли домой.

Возле снежного человека остались маленькая, совсем маленькая Нуник, Арпик и второклассник.

Второклассник приложил ухо к груди снежного человека и стал слушать.

— Какое у него горячее сердце. Так сильно бьется, что в новогоднюю ночь он ни за что не замерзнет.

Нуник и Арпик тоже прислушались: как горячо бьется сердце снежного человека.

Вечером ребят уложили спать. Нуник закрыла глаза, и до нее отчетливо донесся стук сердца снежного человека, потом он начал рассказывать ей сказку, и она улыбнулась во сне.

— Почему она улыбается? — забеспокоилась мама и позвала отца. — У Нуник поднялась температура, — тревожно сказала она.

Отец приложил руку ко лбу девочки.

— Нет у нее температуры, просто Нуник снится какой-то сон.

А Нуник слушала, как бьется сердце снежного человека. Снежный человек рассказывал ей сказку.

Маленькая Арус тоже услышала стук сердца снежного человека. Стенные часы в спальне повторяли за ним: тик-так, тик-так. А гуттаперчевая кукла рассказывала сказки там, внутри снежного человека, потому он и не замерзал, потому у него было горячее сердце, а снежные рассказы совсем солнечные.

Все-все дети слышали, как бьется сердце снежного человека, не слышали только взрослые, они не знали, что во дворе живет снежный человек, а в его груди лежит исколотая иголками сердцевидная подушечка, маленькая гуттаперчевая кукла, осколок свинца и самое красивое, — сердце Нуник. Об этом знали только дети, и потому билось сердце снежного человека, а маленькие, мальчики и девочки в своих кроватках слушали его удивительные снежные рассказы.

Перевела Е. Алексанян

Девочка, которая хотела жить как подсолнух

Ей дедушка прочитал, что подсолнух всегда поворачивает голову к солнцу, потом у себя в саду она увидела это и решила жить как подсолнух — всегда лицом к солнцу.

Каждое утро девочка выходила на балкон и смотрела на восток. В глазах щекотало, между ресницами рождались радуги. Она закрывала глаза, и в сгустившейся под веками темноте вертелись красные, золотистые кружочки. Кружочки отдалялись, укатывались далеко-далеко, терялись и рождались снова. Удивлялась девочка, почему никто не живет как подсолнух. Потом она умывалась, повернув лицо к солнцу, и вода в ладонях казалась расплавленным золотом. А когда пила чай, садилась так, чтобы в стакане и на серебряной ложке играло солнце. Когда же шли с дедушкой гулять, она все время смотрела куда-то вверх и в сторону.

— Ты куда смотришь? — спрашивал дедушка.

— Я живу как подсолнух.

— Хорошо делаешь, — говорил дедушка и на переходе улицы брал внучку на руки, чтобы она могла все время смотреть на солнце.

В парке дедушка садился на скамейку, вынимал свежие газеты и читал, а девочка бежала на площадку и замирала в центре. Вокруг собирались удивленные дети, разглядывали ее, смеялись. Девочка не обращала на них внимания, но ждала, что кто-нибудь спросит, почему она все время смотрит на солнце. И однажды так случилось. Девочка поменьше ее, у которой в волосах торчал огромный бант, спросила:

— А почему ты так стоишь и не смотришь на нас?

— Я живу как подсолнух.

— А как живет подсолнух?

— Он всегда поворачивает голову к солнцу.

Но девочка не смогла долго жить как подсолнух: однажды дедушка заболел, и ее повели гулять мама и папа.

Девочка шла, повернув лицо к солнцу, и мама сказала:

— Куда ты смотришь?

— Я живу как подсолнух.

— Глупости, — сказал папа, — смотри под ноги, а то упадешь.

— Смотри направо, машины идут, смотри направо! — рассердилась мама, когда переходили улицу.

— Я хочу жить как подсолнух.

— Мало ли чего ты хочешь, — сказал папа, — ты должна глядеть туда, откуда ожидается опасность, а не поворачивать лицо к солнцу.

— А я хочу жить как подсолнух, — плача от обиды, сказала девочка, и в капельках слезинок под ее ресницами засверкали тысячи солнц.

Перевела С. Казарян

Оркестр прошел по нашей улице

У нас нет хорошего двора, попросту нет двора, поэтому дети играют на тротуаре. Впрочем, все равно, будь у нас двор, и тогда произошло бы то, что произошло с Арамиком, потому что стояло лето, и оркестр прошел по нашей улице. Пока этот оркестр добрался до нее, он прошел и по другим улицам, иначе откуда могло бы набраться так много идущих за ним ребят.

Рядом с барабанщиком шагал загорелый мальчуган. Был он бос и без рубашки. Конечно, у него нашлась бы дома пара башмаков, пусть даже старых. Но кто не знает, что дети быстро изнашивают обувь? Как видно, по этой причине мать Арамика и припрятала его башмаки.

Рядом с барабанщиком, задрав голову, шагал босой Арамик, именно тот Арамик, о котором я

собираюсь рассказать. Он шагал и ударял в воображаемый барабан.

Впереди, у ног капельмейстера, прыгали в такт музыке девочка и ее брат. Я говорю брат, потому что именно так мне сказали дети. Другой мальчик, совсем крошка, тоже пытался шагать в такт музыке, но отставал и, сбиваясь с ноги, то и дело принимался бежать.

А мальчик с балкона, того балкона, с перил которого в праздничные дни свешивается великолепный ковер и портрет в цветочной раме, грустно смотрел вниз. Он никогда и никому не завидовал, но теперь завидовал босому Арамику, прыгающим впереди оркестра девочке и ее брату и тому крошке, который то отставал, то забегал вперед. Завидовал, но что он мог поделаться, если ему запрещалось играть с детьми, бегать по улице, говорить на том языке, на котором папа с мамой почти не говорили. «Зато, — утешал себя мальчик с балкона, — в праздничные дни вся эта детвора завидует мне. В праздники красивее всех балконов разукрашен наш балкон, а папа везет меня на площадь — смотреть парад».

Что я говорю? Где это видано, чтобы дети могли так утешать себя?

Ребенок всегда остается ребенком. При виде чужой игрушки, пусть даже сломанной, он забывает о своих игрушках и, чтобы получить ее, готов уступить все свои.

Когда оркестр вышел на новую улицу, Арамик не повернул назад, хотя за оркестром теперь уже следовали незнакомые дети.

— Ра-ра-ра-ра, — выводил баритон, а барабанщик время от времени ударял сверкавшей на солнце тарелкой, которую он нес в одной руке, по такой же тарелке, прикрепленной к барабану.

Больше всего Арамику нравился звон тарелок. Ему казалось что асфальт усеян не солнечными бликами, а золотыми осколками этого звона. Арамик надувал щеки, повторяя вместе с тарелками: «цим-па-па, цим-па-па». Всякий раз, когда барабанщик поднимал тарелку, в глазах Арамика отражался ее блеск. Барабанщик бил, бил в барабан и чувствовал, как в маленьком сердце мальчика отдаются его гулкие удары. Никогда еще барабанщик не прислушивался с таким удовольствием к своему инструменту. Маленький мальчик открыл ему секрет золотого ликования тарелок, — оно было наполнено жизнью... И пусть трубачи смотрят на барабанщика с презрением, а бас и баритон не считают его музыкантом, — молодежи нужны барабан и тарелки. Барабанщик весело улыбнулся Арамику, а тот — ему. Они друг друга поняли.

— Ты любишь конфеты? — почти крича, спросил барабанщик и полез в карман. Вместо конфеты он извлек завалившуюся пуговицу.

— Я... — громко крикнул Арамик, но умолк на полуслове: барабанщик ударил в медь. — Цим-па-па, цим-па-па, — откликнулся Арамик.

Барабанщик сунул руку в другой карман, вновь нащупал пуговицу и вспомнил, что эта пуговица от пальто. Было лето, жаркое лето, и пуговица напомнила ему холодок зимы. Наконец он нащупал в кармане конфету.

— На.

— Мама говорит, что сладкое портит зубы, — сказал Арамик, развернул бумажку и отправил конфету в рот, — у мальчика с балкона зубы потому и выпали.

«Недостаток сахара ослабляет организм» — вспомнил барабанщик фразу из какого-то учебника и взглянул на хрупкую фигуру Арамика.

Оркестр проходил по улицам города, и на каждой новой улице идущие за ним дети

сменялись. Только Арамик прошагал до конца, но, когда оркестр остановился за городом, у заводских ворот, ему стало страшно. Мальчик был здесь впервые. Он оглянулся и понял, что обратной дороги ему не найти, и заплакал. Барабанщик удивленно взглянул на него:

— Почему ты плачешь?

— Хочу домой.

— Где ты живешь?

— В нашем доме, на нашей улице.

— Как называется ваша улица?

— Не знаю.

— Не расходитесь, — сказал барабанщик своим товарищам. — Мальчик потерял дорогу, надо проводить домой.

Арамик перестал плакать.

— У меня губы распухли, — отказался трубач.

— У меня щеки раздулись, — оправдывался бас.

— Пошел бы, но плечо болит, — заявил баритон.

Капельмейстер ничего не сказал, сунул в карман маленькую палочку и вошел в ворота.

Тогда барабанщик взял свой барабан и ударил в тарелки. Капли, повисшие на ресницах мальчика, отразили блеск меди и упали на землю.

— Пойдем, — решительно сказал барабанщик.

Они шагали по улицам города. Барабанщик ударял в тарелки, а босой мальчик бил в воображаемый барабан. Вслед за ними, вскидывая ноги и отбивая такт, маршировали малыши. Барабанщик шагал, забыв усталость. И вспомнил он прочитанный в детстве рассказ о барабанщике, который возглавил отступающую армию и повел ее в наступление. Он вспомнил этот рассказ, и ему показалось, что за ним идут не дети, что они уже повзрослели, а босой худенький мальчуган превратился в плечистого юношу и повторяет не свое цим-па-па, а мужественную песню, живущую во всех сердцах.

На нашей улице мать нашла Арамика. Она готовилась уже залепить ему пощечину, но барабанщик сказал:

— Не бейте, он будет барабанщиком.

Мальчик с балкона услышал эти слова и усмехнулся: «Велика важность!»

— У матери всегда дурные предчувствия, — сказала мать, обнимая сына.

Перевела М. Сагиян

С кувшином в гору пошла

От лошади пахло стойлом: видно, на ней давно не ездили. Путник шел впереди, ведя лошадь под уздцы. Вскоре на пустынной дороге его нагнал пастух, он бережно нес на руках новорожденного ягненка.

— Добрый день, куда путь держишь? — Путник погладил ягненка по шелковистой белой шерстке.

— Путь добрый. В Саригюх иду.

— Весну несешь снежной горе?

— Какую весну? — удивился пастух. — Ягненка несу.

— Ягненок и есть весна, — убежденно сказал путник.

Пастух посмеялся в душе над странным ответом незнакомца, его глаза хитро прищурились.

— А ты? Ты что несешь снежной горе? — Пастух искоса взглянул на путника, теперь в его глазах светилась откровенная насмешка. Путник это заметил, но не обиделся:

— У меня ничего нет, наоборот, унести хочу,

— Что? — с опаской спросил пастух. — Да ты никак барин?

— Нет, я не барин.

— Тогда кто же ты?

— Песни я собираю.

Пастух подумал: вот чудак, разве песни собирают?

Путник отгадал его мысли.

— Собирают, — сказал он, — песни нужно искать.

Если бы ты знал, сколько их вот сейчас в одном твоём хурджине...

— Ты, я вижу, шутник. Что им делать в моем хурджине? Сыр там, хлеб да молодая мята, что растет на берегу ручья.

Путник улыбнулся.

Пастух опустил ягненка на землю и принялся развязывать хурджин. Ягненок беспомощно закачался на своих подгибающихся тонких ножках. Весна была такой молодой, свежей; прозрачная, нежная зелень от малейшего дуновения клонилась к земле. Ягненок расставил ноги, потом опустил мордочку и сорвал пучок травы, выбивающейся из-под его копытца.

— Присаживайся, до Саригюха нам по дороге, — позвал пастух, — сыр с мятой хорош, садись ближе.

Был уже вечер, когда они добрались до Саригюха. Они поднимались пешком, из хурджина, привязанного к седлу лошади, выглядывала белолобая мордочка ягненка. Когда деревня была уже совсем близка, путь им преградила овечья отара. Ягненок печально заблеял. Отара не отозвалась, только одна светлошерстая овца остановилась, растерянно огляделась по сторонам и тоже заблеяла.

— Только мать, потерявшая свое дитя, может откликнуться на зов сироты.

— Это верно, — согласился пастух, — так всегда было, так будет. Значит, за песнями идешь? — спросил он неожиданно. На этот раз в его голосе не было ни удивления, ни издевки. — Смотри-ка, — он показал на дом из нетесаного камня, показавшийся из-за поворота, — там хозяева ждут не дождутся своего скитальца, и дом-то на дороге выстроили, чтоб запоздалые путники останавливались у них на ночлег. Сын у старухи на чужбине. Вот она и наказала невестке: пусть, говорит, двери нашего дома будут открыты для каждого, чтоб и нашему скитальцу во всем была удача.

Пастух отвязал хурджин, закинул его за спину, попрощался и пошел по дороге, ведущей в Саригюх. Еще долго в полумраке белела мордочка ягненка, и из хурджина доносилось его блеяние, жалобное, надрывающее душу. И снова в темноте на его горестный зов отзывалась овца, потерявшая своего детеныша...

Путник остановился на ночлег в доме из нетесаного камня на краю деревни. Лошадь поставили в стойло. Невестки принесли воды. Когда он умылся, хозяйка спросила:

— Где тебе постелить?

— На крыше, — ответил путник.

— Хочет на крыше, значит, там и стелите, — обратилась она к невесткам.

— Постели не нужно, сена принесите, люблю спать на сене.

Старая женщина удивленно взглянула на гостя, потом обиженно возразила:

— Виданное это дело, чтоб в армянской семье была грязная постель?

Она одно за другим откинула аккуратно сложенные на тахте одеяла. Верх одного одеяла, словно восточная сказка, был весь в миндалевидных узорах. По светлому полю будто пригоршнями рассыпаны миндаль и хурма. Гость провел рукой по цветастому верху. В детстве он покрывался вот таким же пестрым одеялом и часто любовался его радужными переливами. И тогда ему слышалась какая-то песня, чудились фантастические вишапы, юноши с тонким станом, миндалевидные глаза девушек и дороги, которые терялись в складках одеяла...

Потом, когда у монастырских степ Эчмиадзина он встретил земляков, едва спасшихся от резни султана Гамида, и увидел снова эти одеяла, в которые кутались несчастные беженцы, узоры из миндаля больше не казались ему сказочными, они превратились в отпечатки башмаков янычаров, башмаков с изогнутыми носками, которые хотели растоптать его сердце, сердце его родины.

Он снова провел рукой по одеялу, словно хотел стереть эти ненавистные следы.

— Не веришь? — обиделась старуха.

— Верю, только не привык я спать в постели.

— Ну, как знаешь, принесут тебе сена.

Невестки вышли. Воцарилось молчание. В углу звонко затрещал сверчок. В полоске молочного лунного света, падающего сквозь дымовое отверстие, мелькнула мышь.

Старуха знаком пригласила гостя сесть, потом поставила перед ним хлеб и танапур[4].

— Из каких ты мест, кто ты, чей сын? — спросила она.

Гость стал не спеша крошить в тарелку лаваш.

— Армянин я, — сказал он, помешивая танапур.

— Это я и сама вижу.

— Из Кутай, сын Геворка и Такуи Согомонянов, вардапет[5] Комитас.

Все это он сказал таким безучастным, монотонным голосом, продолжая помешивать танапур, что хозяйка недоверчиво взглянула на гостя.

— Какой же ты вардапет без фараджи?[6]

— Я пришел не проповеди читать, песни собирать.

«Неправда это», — решила про себя старуха.

— Песни не пшеница, чтоб их собирать, — сказала она и снова исподлобья взглянула на гостя.

Гость не обиделся, даже не стал убеждать хозяйку и неторопливо продолжал есть танапур.

— Если ты в самом деле вардапет, помолись за моего сына, прочти молитву, — неожиданно попросила она.

Комитас поднял голову. Ложка с танапуром застыла, у него в руке. Старческие глаза матери наполнились слезами, и крупные капли покатались по щекам.

— На чужбине он, и весточки не шлет, — голос ее прервался, — невестка измаялась, ожидаючи. Возьмет кувшин, уйдет в горы, сядет там у родника, глаз с дороги не сводит.

Деревянная ложка медленно соскользнула в глиняную тарелку.

— Где он? — спросил Комитас.

— Из Баку получила письмо, священник читал, сказывал: осенью возвратится. Пришла осень, зима наступила, потом весна, а сына все нет.

Слезы дрожали у нее на подбородке. Вардапет машинально потянулся к ложке. Ложки не было.

— Я прочту молитву. Скажи, как зовут, напишу письмо, наведу справки.

— Спасибо тебе. Если ты и не вардапет, письмо-то ведь написать сможешь.

— Вардапет я, бог свидетель, вардапет.

— Пиши: Андраник Текмекчян, сын Манаса.

Комитас записал фамилию в нотную тетрадь.

— Ты ешь, ешь, или не нравится? — забеспокоилась хозяйка.

— Не хочется. — Комитас встал из-за стола.

Они вышли из комнаты. На дворе было темно. Звездное небо раскинулось далеко за горы. На плоской крыше мелькал огонек лампы: невестки стелили ему постель. Комитас встал на колени, рядом с ним опустилась на колени мать.

— Бог милостивый, будь хранителем скитальцев, — начал Комитас.

— Аминь, — подхватила старушка.

Пламя лампы качнулось и сдвинулось с места: невестки кончили свое дело. Одна из них шла впереди, и огонек лампы, которую она несла в руках, казалось, затерялся среди бесчисленных мерцающих звезд. Но когда она начала спускаться, звезды остались вверху, а огонек лампы засветился совсем рядом.

Лицо невестки, освещенное колеблющимся светом, ясно проступало из темноты. У нее были небольшие черные глаза, разлетающиеся, словно два крыла, брови и ямочки на щеках.

— За кого молитесь? — спросила невестка.

— Ты ступай домой, не твое дело, — сказала старуха.

— Бог милостивый, будь хранителем скитальцев, — снова начал Комитас.

— Бог глух к молитвам, он вас не услышит, — залитое светом лицо невестки теперь было совсем близко. В ее глазах светилась насмешка. — Не слышал и не услышит.

— Ты домой ступай, — мягко и вместе с тем требовательно сказала свекровь. — Бог все слышит, богородица Мариам тоже слышит.

— И зачем только вы бога просите? Будь он так хорош, не даровал бы страдания жене своей, не отнял бы у нее сына.

— О богородице грешно так говорить, богородица не была женой. Господи, помилуй, помилуй.

— А я разве жена? Андраник ушел на чужбину. Если ваш бог так хорош, почему он не дарует мне ребенка без мужа, или богородица пригоже меня?

Комитас смотрел на невестку.

На темном фоне неба голова ее, облитая светом, казалась окруженной сияющим венцом, как на иконе. Ее светлые волосы пламенели под светом лампы. Под бровями легли густые тени, в черных глазах отражались язычки пламени, ямочки на ее щеках наполнялись то темнотой, то светом. Золотистая полоска пушка над верхней губой поблескивала во мраке.

— Осрамила ты нас, идем домой, — взяв невестку за руку, старуха направилась к дому.

Оставшись один, Комитас долго смотрел на небо. Он думал о скитальцах, которые ушли и не вернулись, оставив родную землю, родной кров. Вокруг была тишина, покой, но ему показалось, что кто-то кричит во весь голос: «Армяне, не покидайте свою землю! Кто это говорит, что у нас маленькая родина? Маленькой родины не бывает, есть малодушные сыновья ее. Армяне, не покидайте своих очагов! Завоеватель не станет жить в разрушенном доме — покинутый кров он сделает своим».

Вокруг по-прежнему была тишина, только из хлева доносилось мычание коровы да откуда-то издали — собачий лай.

Оставаясь наедине, он часто так беседовал с собой, и его узкое, пергаментной белизны лицо становилось задумчивым, глаза западали, а губы сжимались до синевы. Он то отчаивался, то вновь начинал надеяться и тогда улыбался про себя. В такие минуты люди провожали вардапета удивленными взглядами, и Комитас мысленно говорил им: «Люди, если лицо мое мрачно и угрюмо, вы не удивляйтесь, вы говорите: значит, с ним что-то случилось. Но стоит

мне улыбнуться своим мыслям, и вы в недоумении. Люди, вы свыклись со всем, кроме радости». Мысли всплывали одна за другой... Комитас зашагал к дому. В дверях он столкнулся с хозяйкой.

— Вардапет, не прокляни, молодая она, обижена на бога. Да снизойдет божья благодать на сына моего и невестку. Прочти молитву.

Комитас опустился на колени у порога, но молиться не стал. Он молча смотрел на небо и думал не о боге, а о своем народе. Старуха время от времени приговаривала «аминь», но он, казалось, не слышал.

...Комитас очнулся от своих мыслей.

— Аминь, — повторила мать.

— Аминь, — отозвался Комитас.

Они поднялись с колен.

— Ты говоришь, что пришел собирать песни? — спросила она. — Невестки не поют, у них стыд есть. Вот только когда ходят за банджаром[7] еще поют ночью, тайком, когда все спят.

Одна из невесток вышла из дому с лампой в руке.

— Проводи вардапета на крышу, — сказала старуха.

Невестка молча прошла вперед, освещая деревянную лестницу, ведущую на крышу. Поднимаясь за ней, Комитас спросил:

— Песни поете?

Невестка не ответила.

— Как тебя зовут?

Невестка снова промолчала.

— Я бы хотел послушать, как поете.

Невестка поставила лампу на крышу и поспешно начала спускаться. Во дворе она что-то зашептала подругам, потом до него донесся приглушенный смех.

— Сказала бы, муж у меня есть, сказала бы, это у Эрикназ муж ушел на чужбину и не вернулся.

— Не годится так говорить об Эрикназ.

— А как еще прикажешь говорить? Возьмет кувшин, уйдет в горы, сядет там у родника, мол, Андраника дожидаюсь. В богородицу не верит, в Христа не верит.

Комитас слушал. Он не сердился на них, но ему было горько, больно за Эрикназ.

— За лампой Эрикназ пошлите, — сказала одна из невесток, и остальные засмеялись. Потом их смех послышался у двери. Дверь отворилась, из комнаты вырвался сноп света и исчез. Все стихло.

Комитас лежал закинув руки за голову. Аромат сухого сена одурманивал. Сон не шел. Он прислушивался, не раздастся ли где песня. «Как знать, может, и запоет кто-нибудь,

запоздалый ли путник, мать, убаюкивающая младенца, влюбленная девушка, мало ли? Песню армянина нужно подслушать украдкой, а так тебе никто не споет. Пойти за невестками, когда они отправятся собирать банджар; увидят, а если и удастся остаться незамеченным, кто знает, посчастливится ли услышать песню. Видно, потому путешественникам-чужеземцам казалось, что у армянина нет песни. Но разве у народа может не быть души?» Он снова вспомнил монастырские споры, вспомнил монаха, который утверждал, что кяманча и тар исконно армянские музыкальные инструменты, что для песни армянина характерны модуляции, переливы, что она похожа на протяжные, тягучие шикясти и баяти.

«Не знают армянина, — с горечью подумал Комитас. — Ключ к его душе — наше зодчество. Незатейливы и суровы наши монастыри. Так и армянская песня: тоже сурова и безыскусственна».

Он повернулся на постели: перед ним выше черных фонтанов тополей, на темном небе, четко вырисовывался островерхий купол сельской церкви. Он больше ни о чем не думал: глаза смыкались, сгустившаяся под веками темнота, казалось, состояла из бесчисленных черных крупинок, как будто кто-то невидимой рукой смешал зернышки кунжута. И от этого мрак, в который он погрузился, был таким безграничным и бездонным.

Когда он проснулся, уже светало. В сене под ним трещал сверчок. Наверное, сверчок пел всю ночь, а он не слышал.

Хозяйка распахнула двери хлева: первыми высыпали овцы, потом показался буйвол. Шерсть его отливала синевой, и он казался большим чернильным пятном на сиреневом фоне неба, которое вот-вот расползется по небу так, что его потом не смоешь.

Буйвол шевельнулся, помотал головой и замычал.

— Эрикназ, буйволенок вышел, — позвала старуха.

Эрикназ загнала его обратно в хлев и, взяв кувшин, снова вышла.

— Чуть свет за водой собралась?

— Андраник ушел чуть свет, — ответила невестка.

С крыши видна была тропинка, ведущая в горы. В фиолетовой дымке рассвета кувшин Эрикназ казался синим. Она уходила все дальше, и кувшин постепенно сливался с ее фигурой. И на мгновение Комитасу показалось, что это идут, склонив друг к другу головы, влюбленные, идут к роднику за водой, идут и идут...

И то ли ему послышалось, то ли на самом деле до него донеслась песня...

Взяла кувшин, ушла в горы...

Арагат, Сипан, Бингел, Арагац — в каких горах он слышал эту песню, он не помнил. Повсюду с кувшином на плече поднимаются в горы, повсюду ищут любимого, находят и не находят...

Близился рассвет. Деревня находилась у подножия горы, родник на ее вершине. С крыши был хорошо виден и родник, и поднимающаяся к нему Эрикназ. Комитас отряхнул приставшие к одежде соломинки и встал. Дороги начинались у родника и, извиваясь, тянулись вдаль, к реке в долине, а там пропадали за холмами. Сверху, от родника, послышалась песня: наверное, это пела Эрикназ:

Взяла кувшин, ушла в горы...

В каких горах родилась эта песня? Никто не знает. Повсюду ищут любимого, находят и не находят.

Он достал нотную тетрадь и стал поспешно записывать. Спел первую фразу, полузакрыв глаза, устремив взгляд на дороги, теряющиеся вдаль, и ему показалось, что он видит Эрикназ, провожающую своего мужа. Она стоит босиком, смуглые ноги в росе, солнце играет на золотых сережках. У нее ямочки на щеках и разлетающиеся, словно крылья, брови.

«Весточку пришли, скорей возвращайся», — шепчет Эрикназ. «Когда аист вернется и дети снова будут кричать с крыши: «Аист, хорошо, что ты прилетел, как хорошо, что ты прилетел», — я буду дома», — говорит Андраник.

И Андраник уходит, Эрикназ остается у родника, стоит с кувшином на плече.

Комитасу показалось, что все это происходит сейчас, на его глазах, — Эрикназ только что простилась с мужем, и тот путник, удаляющийся по извилистой тропинке, это он, Андраник.

— Вардапет, Эрикназ воды принесла, не хочешь умыться?

Голос хозяйки вывел его из задумчивости, он спустился с крыши, умылся и зашел в дом.

Когда лошадь уже вывели из стойла и, распрощавшись со всеми, Комитас собирался ехать, старуха сказала:

— Вардапет, напиши письмо, пусть Андраник пришлет весточку.

Эрикназ ничего не сказала, опустив голову, она стояла рядом со свекровью.

— Как только добуду весточку, приеду к вам обедню служить.

— Будь благословенна эта обедня, — сказала старая женщина. * * *

Прошли месяцы. Комитас получил ответ на свое письмо из бакинской епархии: «...Осенью в Баку, в скитальчестве, умер Андраник Текмекчян. Да пребудет благословение божье на его матери и супруге...»

Он снова перечел письмо и вспомнил, что обещал отслужить обедню в деревне Саригюх. На этот раз он надел фараджу и заранее известил о своем приезде.

Был конец лета: со сжатых полей доносился крик куропаток. Стояла жара. Лошадь ступала медленно, и Комитас не понукал ее, он не спешил.

«Будь благословенна эта обедня», — вспомнились ему последние слова старухи. Недобрую весть он везет, какое уж тут благословение. Когда вдаль показалась деревня и дом из нетесаного камня на обочине дороги, он повернул коня и въехал в село с противоположной стороны, чтоб не встретиться со старухой и Эрикназ.

Во дворе церкви собрались крестьяне. Среди них он сразу заметил старую мать и Эрикназ. Он спешился, подошел к ним. Старуха приложила к его руке, но ни о чем не спросила. Комитас облегченно вздохнул, но, взглянув на Эрикназ, понял, что не ответить он не может, что он должен сказать о письме. Взгляд Эрикназ, казалось, говорил: «Принес ли весточку?»

Дин-дон, дин-дон... — звал колокол. По двору распространился запах ладана. Комитас стоял в ризнице и напряженно вглядывался в толпу прихожан. Вот они встали на колени у стены. Эрикназ не молится, она смотрит на вардапета, и ее взгляд словно вопрошает: «Принес весточку?»

И вдруг, неожиданно для самого себя, вместо того чтобы начать молебен, Комитас запел. Он пел едва слышно:

Взяла кувшин, ушла в горы,

Не нашла, не нашла любимого...

Священник удивленно смотрел на вардапета: «В божьем храме вместо святая святых поет о потерянном возлюбленном, и католикос не знает, и бог терпит...» Священник осторожно зашептал:

— Вардапет, опомнитесь. Вы в саригюхской церкви, наверху бог, перед вами святое распятие.

Комитас сделал вид, что не слышит:

Взяла кувшин, ушла в горы...

Комитас пел и смотрел на Эрикназ. Старуха молилась. Ее плечи слегка вздрагивали от рыданий. Эрикназ не молилась, она смотрела на вардапета и пыталась найти в этой песне ответ на мучивший ее вопрос. Вардапет пел ее песню, которую она пела у родника, песню, которую она пела для Андраника. Вардапет поет ее песню. Эрикназ не отрываясь смотрела на Комитаса, но глаза ее ничего не выражали, в них не отражался даже блеск свечей, потрескивающих в полутьме церкви. Потом Эрикназ вдруг встала и выбежала из церкви.

Кончив песню, вардапет прочел молитву о скитальцах, скитальцах, которые ушли в чужие края и не вернулись, и не вернуться, которые не будут больше пахать свое поле, не будут поливать свой сад и поить волов, не сожмут в руке рукоятку плуга. Кончив молитву и проповедь, он поспешно вышел из церкви.

— Вардапет, — подойдя к Комитасу, хитро прищурился священник, — дозволено ли в божьем храме петь мирскую песню?

— Все божье принадлежит человеку, и что принадлежит человеку — божье, — ответил Комитас, твердо зная, что священник сегодня же известит о случившемся католикоса.

Комитас попрощался с крестьянами и, взяв лошадь под уздцы, зашагал по направлению к дому Эрикназ.

На дороге его ожидала старая мать. Молча они дошли до развилки дороги.

— Эрикназ пошла к роднику. Эрикназ сказала: «Принесу воды, пройдет мимо странник, студеной водой угощу», — неожиданно заговорила она.

Комитас растерялся, что-то сдавило горло. Глаза старухи наполнились слезами. Они

сверкали под старчески морщинистыми веками и медленно скатывались по щекам.

— Да будет легкой земля на его могиле в чужом краю, — прошептала мать и, не попрощавшись, понутив голову пошла к дому.

Комитас стоял на перекрестке и смотрел ей вслед. Старуха шла сгорбившись, подол ее залатанной юбки волочился по земле, поднимая легкую пыль. Он стоял неподвижно, и в душе какой-то голос печально пел:

Взяла кувшин, ушла в горы,

Не нашла, не нашла любимого...

Где родилась эта песня, где он ее слышал? Повсюду ищут любимого, находят и не находят...

Перевела Е. Алексанян

Уснула Хумар

Тан-до, тан-до — слышен звон колоколов. По Игдирской дороге, садами возвращается Комитас. Душно, он поднял полы рясы и заткнул за пояс. Издали он похож на водоношу. Колючки прилипли к рясе, и он даже не думает отрывать их.

Тан-до, тан-до. Это колокольный перезвон храма богоматери; ему вдруг начали вторить колокола Гаяне — динг-донг, динг-донг.

Клинг-кланг — а это деревенская церквушка, — словно глухой отзвук медной монеты, брошенной в чашу нищего. Комитас снова выпустил подол рясы, от этого ему стало труднее идти. Он снял бы рясу, но... тан-до, тан-до — доносятся грозные звуки храма богоматери.

Комитас сворачивает на узкую улицу и шагает к дому Ованеса.

Ованес и Егише беседуют в саду, усевшись под тенистым тутовым деревом.

— Не пришел Вартеван? — спрашивает Комитас, сев на край тахты.

Уже два дня Вартеван бродил по деревням с ларем деревенского торговца.

Это коренастый крестьянин среднего роста. Лицо у него черное, как монастырские стены, а глаза глубокие, как небо, смотрящие из щелей монастырского купола. Глаза из-за большого, кирпичного цвета носа кажутся меньше.

Рот под крупным носом как тонкий ручеек, полный белыми камешками-зубами, которые теряются в густых кустарниках усов. Когда он смеялся, нос приходил в движение и, казалось, что вот-вот начнет раскачиваться и упадет, а когда он утирался большим платком, свисавшим с пояса, создавалось впечатление, будто этот большой, ненужный нос останется в платке, а взамен появится настоящий, поменьше.

Руки у Вартевана были крупные, веснушчатые, а шея — красная как морковь. Он носил архалук, подпоясывался серебряным кушаком.

Каждую субботу он брал свой ларь и отправлялся в деревни. Чего только не было в этом ларе, начиная с иглоков, наперстков, ниток и кончая черными гребенками, изготовленными из рогов, кашмирскими шальями.

Егише разрисовал его ларь, запечатлев невест, пляшущих в хороводе, и носатого мужчину, созерцавшего девушек. Вартевану было невдомек, что Егише написал его портрет. В зеркало он никогда не смотрелся, а в колодце, над которым он иногда нагнувшись разглаживал усы, его лицо воспроизводилось в искаженном виде. Он любил напевать новые песни, услышанные в деревнях. Иногда песни были со словами, иногда и без слов. Вартеван возвращался в понедельник, и всегда с убытком.

— Наперсток отдал даром, отдал одной невесте, палец впору пришелся, отдал я наперсток даром, — напевал на подслушанный мотив собственные слова.

Наперсток даром дает,

Башмачок даром дает,

Вартеван из Коша идет, —

пели Ованес, Егише и Комитас, когда на дорогах показывалась коренастая фигура Вартевана, возвращавшегося из деревень. Вартеван сердился на них: «Ну и что? Невелика беда, что с убытком возвращаюсь. Зато этого Ованеса, который сейчас стал поэтом, я вырастил на своих руках. Чего только я ему не рассказывал — о всех травах и жучках. А Комитасу сколько привез я песен. Ну, а Егишу что принесешь. Увиденное не принесешь, услышанное принесешь». Из-за дворовой стены Вартеван увидел Комитаса. Монах, сняв рясу, сидел, скрестив ноги, рядом с Ованесом и Егише. «Ждут меня, — подумал Вартеван. — Опять с убытком возвращаюсь. Опять эта молодежь поднимет меня на смех». Он всегда возвращался с убытком.

Вартеван был земледельцем, огородником. Всю жизнь провел на земле, и оттого ли, что ему трудно жилось и он видел, что торговцы зарабатывают больше, чем трудятся, огородник оставил земледелие. Куда лучше бродить по деревням, чем ковыряться в земле. Но, как говорят, уши выше лба не растут, и напрасно он старался стать торговцем.

Комитас, Ованес, Егише давали ему деньги, и он, наполнив свой ларь добром, отправлялся по деревням, возвращаясь с убытком. Они снова давали ему деньги, и Вартеван вновь отправлялся в свое недалекое путешествие и опять возвращался с убытком. Он не знал, что молодые с нетерпением ждали его возвращения. Он не знал, что всегда приносил с собой бесценные сокровища — песни, краски, крылатые слова.

Ждали его и на этот раз, и Вартеван положил на землю свой ларь, омыл ноги в ручье и лег в тени тополя. «Отдохну, потом покажусь», — решил он.

Жара была нестерпимая, листья тополей чуть колыхались. Вартеван лежал на спине. Из травы теперь торчал лишь его нос кирпичного цвета.

Он принес с собой одну песню и, заложив руки за голову, однотонно напевал ее.

В Бюракане он услышал эту песню, ее пели невесты у родника. А одна из них, маленькая и округлая, как кувшин с ушками, подбоченившись, смеялась. Ее звали Хумар, она была красива, очень красива. Вартеван увидел ее. «Я странник, странник, дай воды напиться». Ему казалось, что он опять стоит у родника и невеста из кувшина льет воду на его широкие

ладони, сложенные лодочкой. Булькает вода в горлышке кувшина, наверно, напевает эту же песню. Вартеван попробовал спеть во сне, но голос у него пропал, веки отяжелели, и он уснул.

— Ованес, Вартеван не вернулся, — сказал тревожно Комитас, поднимаясь с места.

— Нет, он, наверно, здесь. Спит где-нибудь в тени.

Все трое пошли в глубь сада. Когда они приблизились к тополи, Егише показал рукой на что-то.

— Видите, красный нос Вартевана выглядывает из травы. Красное и зеленое — как красиво!

Осторожно подошли к спящему.

— Видит бог, на его губах застыла новая песня, смотрите, как дрожат его губы, — сказал Комитас.

— А на кончике языка притаилась новая шутка. Хорошо, что он спит, не то слетело бы это слово, и мне ничего бы не досталось.

— Под веками у него есть новые краски.

Егише закашлялся, но Вартеван не двигался.

— Глубоко спит наш странник, — сказал Егише улыбаясь.

Они взялись за руки. Комитас очень тихо запел. Эту песню принес Вартеван в прошлый раз.

Ованес тут же сочинил слова, и все трое начали:

Уснула Хумар...

Опля, опля, опля тмба...

Комитас пел:

Ах, хороша, как хороша...

Они взялись за руки и медленно двинулись вокруг Вартевана, а спящий видел во сне похожую на кувшин с ушками маленькую, кругленькую невесту, которая, подбоченившись, стояла над ручьем и смеялась. «Я странник, странник, дай воды напиться» — и в горлышке кувшина булькала вода, сон смешивался с явью.

Вартеван проснулся. Сонными, удивленными глазами он смотрел на молодых, кружившихся вокруг него:

Уснула Хумар...

Опля, опля, опля тмба...

Взявшись за руки, трое прыгали, приседали, выпрямлялись и снова приседали. Вартеван не сердился — ведь они поют не о нем, а о той бюраканской невесте, маленькой, кругленькой, как кувшин с ушками:

Ах, хороша, гляди, как хороша...

Вартеван тоже присоединился к ним.

— Очень хороша, — подтверждает он в песне.

И он не рассказал о бюраканской Хумар, об удивительной, внезапно родившейся любви, он вложил это чувство в песню и пел ее для невест, крестьян, он пел ее как свою песню, и, когда Комитасу передавали, что Вартеван эту песню считает своей, он мягко улыбался и говорил:

— А чья же? Я от Вартевана ее получил и Вартевану же подарил.

Перевел В. Баблоян

Кел?р, цол?р...

Веселая песня слагается для радости и веселья, но армянин создает веселую песню, чтобы утешиться, забыть про страдания. Как дитя, родившееся после следующих друг за другом смертей, так дорога была ему эта песня, которую нашел он случайно и боялся теперь потерять, замутить печальным рассказом, скорбным взглядом.

Страна полна была выселенными беженцами.

В такое время казалось преступлением распевать такую песню.

Ходила любимая моя, сияла...

Но песня существовала. И Комитас сошел с дороги, зашагал по полю, чтобы люди своими страданиями и горестями не вспугнули ее.

Тяжелые были времена, такие тяжелые, что даже грустных песен не пелось, но эту сложил не он, а услышал на Игдирской дороге.

Комитас неожиданно вспомнил давным-давно услышанный рассказ слепца.

Отец с сыном на дороге встречаются с жалким нищим.

Нищий мурлычет под нос печальную песню.

— Отец, — говорит сын, — поможем ему.

— Он не нуждается в этом, — отвечает отец.

— Почему? — удивляется сын.

— У него есть песня...

Эта история, которая появилась неизвестно откуда и в вопросах и ответах ожила в уме, вдохновила Комитаса.

— У нас есть песня, — повторил Комитас, — и мы не нуждаемся в помощи. Да, есть песня, радостная песня.

И он запел:

Ходила любимая моя, сияла...

Сам испугавшись своего голоса, он посмотрел вокруг. Никого не было, впереди каменистое поле, вдаль копыя тополей, белое облако при полете словно наткнулось на тополя и осталось на их верхушках. Казалось, облако пытается оторваться и от этого вытянулось, стало длиннее. Лишь на миг Комитас посмотрел под ноги на посвистывающую полынь и снова на тополя, у которых на верхушках угнездилось облако, и с удивлением заметил, что облако уже сорвалось, отплыло, оставив за собой тонкую белую нить в синеве неба. И внезапно с тревогой он почувствовал, что облако, тополя и трава отняли у него песню. Он уже не помнил мелодии, слова были, но мелодия исчезла.

Несколько раз он повторил первые строчки, повторил, но ничего из этого не вышло. И тогда он попытался припомнить, где и как он услышал эту песню.

...Вначале никакой песни не было, начал он вспоминать, — подводы остановились на дороге в Игдир. В первую подводу были впряжены буйволы. Лбы их были украшены маками, большими маками, величиной в ладонь. В телеге была девушка с босыми полными ногами. Так хорошо она смеялась и так похожа была на ту...

«Кто может знать, что и я любил», — неожиданно подумал Комитас, и сквозь вереницу долгих годов встала перед ним девушка, встреченная во дворе церкви.

«Маэстро, зачеркните мое имя. Пусть не узнают о вашей безответной любви», — издалека, из глубины воспоминаний, попросила его об этом девушка. Он тогда вычеркнул имя с обложки нотной тетради. Комитас попытался забыть девушку, которая мерещилась ему вместо крестьянки, и чтобы вспомнить мелодию песни, начал припоминать все сначала.

Вначале не было никакой песни, — вспоминал он, — на подводе сидела девушка, которая так хорошо смеялась. Телега была полна ароматного сена. Он стал невдалеке от телеги, на обочине дороги, и делал вид, будто любит закатом.

— Если не любишь меня, чего же ходишь по нашей дороге, — сказала девушка парню. Он отпрягал буйволов.

— Тише, вардапет услышит.

— Вардапет не знает, что такое любовь.

«И в самом деле, кто может знать, что и вардапет любил», — с тоской подумал Комитас.

— Под фараджой не сердце, что ли?

— Кто его знает? — с сомнением сказала девушка.

И ему почудилось, что это было сказано здесь, совсем рядом. Комитас оглянулся вокруг. Пустынное, каменистое поле с тополями-копьями и маленькое облачко, что теперь устроилось на вершине Арарата. «Никто не знает, что и я любил», — с горечью подумал Комитас и снова почувствовал рядом девушку, имя которой он зачеркнул на нотной тетради.

Была осень, глубокая осень, она часто приходила к нему, приходила слушать песни, играть. Играли в четыре руки — Баха, Шуберта, потом его песни. И однажды девушка сказала:

— Странно, когда я слушаю ваши песни, кажется, что сижу возле маленького ручейка, а кругом тишина, удивительная тишина.

Потом замолчали, молчали долго и не играли больше. Руки девушки призадумались над клавишами.

Комитас попытался вспомнить эти руки, но они вспорхнули, словно испуганные голуби, и исчезли вдали.

— Я вас люблю.

Комитас услышал свой голос сквозь вереницу пройденных лет. Это обычное, тысячу раз сказанное слово в то время стало песней, маленькой, ласковой песней. И сейчас, когда он искал найденную и вновь потерянную песню, старая посетила его, завертелась в голове.

Чинара, ты не гнись,

С нашего порога не уходи.

Сквозь припев Комитас увидел девушку, вспомнил ее удивленный взгляд, услышал слова, что испуганными голубями притаились теперь у него в душе.

— Маэстро, неужели вы...

— Да, я вас люблю.

— Любите?..

«И почему люди удивляются?..» — теперь, годы спустя, удивился он сам и тотчас же, будто кому-то, ответил вслух:

— Да, люблю.

Девушка из воспоминаний горько улыбнулась. Годы назад он эту улыбку вложил в песню, но люди не увидели, не узнали девушку, что вместе с ним играла в четыре руки, внимала грому и тишине его песен.

— Почему вы опоздали?.. Неужели вы не знали, что?.. Почему же вы опоздали? — сказала тоже девушка.

«Почему опоздал?» — спросил себя Комитас сейчас. И он вспомнил, что в те самые дни написал он две маленькие песенки про чинару и про любимую, уходящую в горы.

«Ничто в жизни не проходит понапрасну. Полюбил, но опоздал, и от этого опоздания родились две песни», — утешил себя Комитас.

Лишь после, много позднее, от других услышал он, что девушка оставила Армению и живет в чужой стране, дает концерты, исполняет его песни.

Вокруг было тихо. И Комитас остановился. Куда он шел, зачем он шел?

Он вспомнил, что потерял веселую песню, нежную песенку любви, и не там, среди людей, а здесь, на полях.

И снова он попытался все восстановить, с надеждой, что на дорогах воспоминаний найдет потерянное.

...Вначале не было никаких песен. В телеге сидела девушка, а парень-возчик отпрягал буйволов.

И девушка сказала:

— Если не любишь, зачем целовал?

— Кто тебя целовал?

— Я притворилась спящей, ты поцеловал.

— Я?

— Ты.

— Тише, вардапет услышит.

— А откуда ему знать, что такое поцелуй.

Девушка засмеялась, парень тоже.

— Кто ж, как не ты, целовал?

— Буйволенок целовал...

Парень рассмеялся, девушка тоже. Потом парень сказал:

— Осенью поженимся. За счет осени подари один поцелуй.

— Целуй, — сказала девушка и осторожно потянулась лицом к парню, так осторожно, словно к огню приближалась.

Потом парень слез с подводы, пустил буйволов вперед и сказал:

— Поведу их на водопой.

— Веди, — с лукавым равнодушием сказала девушка, потом свесила ноги с телеги и рассмеялась.

Близился закат, солнце пламенело над горными хребтами, буйволы шли навстречу солнцу, отчетливо чернея на фоне неба. Парень вел их к ручью, что протекал между тополями. Девушка запела для парня, запела очень тихо, еле слышно, скрывая в ладонях

порозовевшее, то ли от поцелуя, то ли от заката, лицо.

Ходила любимая моя, сияла

Под солнышком.

Ходила любимая моя, сияла...

Комитас остановился. Вокруг не было никого. Он нашел потерянную песню, ту маленькую, кристальную как росинка, песню. Он снова про себя повторил мелодию и радостно улыбнулся.

Издали слышалось мычание возвращающегося в деревню стада. Он повернул назад и зашагал к деревне.

Тяжелые были времена, такие тяжелые, что даже грустных песен не пелось, а он возвращался домой, без конца повторяя и повторяя маленькую веселую песенку:

Ходила любимая моя, сияла...

Перевела С. Казарян

Антуни[8]

Под стенами монастыря ночевали беженцы. Сироты с мешками на спинах ходили по домам, пели грустные песни, собирали хлеб и умирали от голода.

Архимандрит поднял голову и взглянул на учеников. Утром за восточной стеной монастыря снова подобрали пять трупов.

— Сегодня не будем петь, — сказал он.

В классе царило молчание, каменное молчание. Кто-то из учеников выронил из рук «Родную речь», смущенно нагнулся и поднял книгу.

Снаружи, из храма, донесся заунывный перезвон колоколов, словно то были не колокола, а сломленные скорбью человеческие сердца... Затем умолкли колокола, и класс наполнился задумчивой тишиной.

— Откройте тетради для рисования, — точно испугавшись молчания, проговорил архимандрит и с шумом отодвинул стул, как бы желая разорвать в клочья эту гнетущую тишину.

Ученики осторожно достали тетради.

— Рисуйте, — сказал архимандрит и подошел к окну.

В открытое окно был виден монастырский двор. У дымившего очага стояла молодая беженка, окруженная уцепившимися за ее подол детьми. «Что это она варит?» — подумал Комитас и обернулся.

Никто не рисовал.

— Рисуйте, — повторил архимандрит, — нарисуйте, что хотите.

Он сказал это, чтобы не встречаться с испытующими взглядами учеников, сказал, чтобы остаться наедине с собой, одиноким, как его народ в годы этих ужасных бедствий.

Ученики склонились над тетрадами, а он снова повернулся к окну и выглянул наружу.

Вдали, из-за стен пшеничного цвета, виднелся купол церкви Гаяне. Было солнце, и на солнце сверкали глинобитные стены крестьянских домов. Кусочки самана, беспорядочно вмешенные в обмазку стен, походили на раздробленные лучи солнца. Один из них искрился так ярко, что Комитас прищурил глаза. Кругом царили тишина и спокойствие, словно ничего не случилось.

И вдруг тяжело поднялась беженка, присевшая у очага. За окном показался священник, потом несколько монахинь в черном одеянии и некрашенный деревянный гроб. Хоронили одну из умерших утром — молодую женщину. Несущие гроб беженцы шатались от голода, и казалось, что у них вот-вот подогнутся колени. За похоронной процессией шел мальчик лет трех. Никто не вел его за руку, никто не утешал. Ребенок нагнулся, сорвал растущий у обочины дороги синий цветок, остановился и стал разглядывать лепестки.

Едва волочившие ноги беженцы опустили гроб во Дворе академии. Одна из монахинь позвала занятого цветком ребенка.

— Поди сюда, сиротка, поди посмотри на свою маму, посмотри хорошенько. Никого у тебя не осталось на свете, бедняжка...

Ребенок испуганно взглянул на монахиню и, думая, что у него хотят отнять цветок, крепко сжал в кулак маленькую ладонь.

Комитас смотрел из окна, и ему показалось, что в гробу лежит его мать, которую он не помнил, о которой ему рассказывали, и что этот ребенок — он сам.

Ученики рисовали, слышался только мягкий шелест бумаги.

Ребенок подошел, остановился у гроба, посмотрел на мать, смотрел долго, и его сжатая в кулачок ладонь невольно разжалась. На землю упал смятый цветок.

— Смотри, — проговорила монахиня, — смотри, это же в последний раз, смотри, чтобы запомнить...

Отойдя от очага, исхудалая беженка оттолкнула уцепившихся за ее подол детей, подошла к сиротке и, взяв его за руку, подвела к очагу.

Беженцы снова подняли гроб, и процессия медленно вышла за ворота храма.

Скрылись за окном монахини, скрылся гроб, во дворе, у дымившего очага, осталась женщина с детьми и сироткой. Ребенок заметил на траве другой цветок и нагнулся, чтобы сорвать его.

«Мой бедный народ, тебя всегда убивали молодым, — думал Комитас, — поэтому ты не смог сказать свое слово миру, поэтому ты не умираешь и каждый раз рождаешься вновь, чтобы сказать это слово. Древние народы говорят о тебе, что ты один из древнейших на земном шаре, но им неизвестно, что ты, тысячекратно убитый, самый юный из юных».

Ребенок уже сорвал цветок и с восхищением разглядывал его синие лепестки.

Комитас не заметил, что кончился урок.

— Звонок... — робко прошептал кто-то.

Комитас обернулся, подошел к ученикам.

Сидящий на первой скамейке мальчик нарисовал старую женщину с платком на голове и ниткой золотых монет на лбу.

— Чей ты сын? — спросил Комитас.

— Лавочника Ованеса, — смущенно ответил мальчик.

— Откуда ты?

— Я эчмиадзинский.

Архимандрит ничего не сказал и подошел ко второму ряду.

Худенький подросток с грустными черными глазами робко протянул ему тетрадь.

Неумелой рукой кривыми линиями была нарисована молодая девушка, моложе той, что недавно лежала в гробу. У девушки на рисунке были крупные черные глаза, такие же грустные, как и глаза подростка. Комитас взглянул на мальчика и спросил дрогнувшим голосом:

— Чей ты сын?

— Я сирота, — ответил мальчик.

У Комитаса помутилось в глазах, и, не желая, чтобы ученики заметили его волнение, он заслонил тетрадью глаза.

Мальчик нарисовал молоденькую девушку, моложе той матери, что лежала в гробу, и внизу кривыми буквами приписал: «Мама».

Комитас был не в силах двинуться с места, затуманился взор, и сквозь скопившиеся под веками слезы рисунок показался ему без контуров и расплывчатым.

Прямо на него смотрели большие, полные тоски глаза молодой женщины. Эти глаза были поразительно похожи на глаза робкого, смущенного ученика. Мальчик поднялся с места, пытаясь разгадать, понравился ли рисунок учителю.

— Сын мой, отдай мне рисунок, — проговорил архимандрит, и голос его предательски дрогнул.

Ученик кивнул в знак согласия. Комитас взял рисунок и быстро вышел из класса, вышел, даже не заглянув в тетради остальных, и почти бегом направился в учительскую. Ему хотелось найти кого-нибудь, показать рисунок и сказать: «Матери сирот всегда остаются молодыми, матери сирот не стареют».

В учительской никого не было, кроме надзирателя и стоящего в углу маленького мальчика из младшего класса, которого почему-то наказали. Комитас спрятал рисунок под рясу, потом с удивлением взглянул на мальчика и, обращаясь к надзирателю, спросил:

— За что его наказали?

— Сбежал с урока, не признается, где был.

Нижняя губа мальчика дрогнула, и Комитас понял, что ученика никто ни о чем не спрашивал, что его просто обидели, накричали, и он ушел в себя, затаив обиду.

Архимандрит подошел к мальчику и, сделав над собой усилие, улыбнулся.

— Подвинься, и я встану в угол, — сказал он мальчику, положив ему руку на плечо, — меня тоже наказали. — Мальчик с удивлением посмотрел на архимандрита. Он их также обучал пению. Потом мальчику показалось, что он слышит песенку «Семь гномов». Архимандрит спел ее на уроке несколько дней назад. Он пел, садился на корточки, становясь меньше, потом принялся прыгать, как гном, и повторять: «В избушке у старушки жили семь братьев маленького роста, с большущей бородой...»

Мальчик попытался улыбнуться, но нижняя губа снова дрогнула.

— Куда ты ходил, сынок, за что тебя наказали? — спросил Комитас.

Мальчик опустил голову.

— Вот и меня наказали... — Комитас на миг задумался, что бы ему сказать, потом рассудил, что мальчик не поймет его, и тут же придумал: — Меня наказали семь гномов, наказали за то, что я сочинил про них эту песенку.

Мальчик сквозь слезы посмотрел на архимандрита, посмотрел так, словно хотел сказать: «Меня не проведешь» — и, почувствовав к нему какое-то доверие, еле слышно прошептал:

— Я искал свою маму.

— Нашел? — спросил Комитас, нагнувшись к мальчику.

— Не нашел. Спросил беженцев из нашего села, сказали, что не видели... — зарыдал мальчик.

— Отпустите ребенка! — вдруг рассердился архимандрит.

Надзиратель испуганно взглянул на него, собираясь что-то сказать.

— Отпустите! — на этот раз еле слышно произнес архимандрит, и около крепко сжатых губ его молнией прошла судорога.

Надзиратель кивком головы отпустил мальчика. Тот медленно пошел к дверям, остановился и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Вот вырасту, построю круглый дом, чтобы никого не ставить в угол...

Мальчик вышел. С шумом открылась и хлопнула дверь.

— Мой бедный мальчик, — тихо проговорил Комитас, — ты ведь не знаешь, что бог создал земной шар круглым, чтобы никого не ставили в угол, но злые люди снова поставили в угол мой народ...

С минуту он неподвижно стоял на месте, потом двинулся к окну, снова вернулся, шагнул к стене и вдруг, заметив дверь, выбежал из комнаты. Постояв на лестнице, он отер со лба испарину и зашагал к кельям.

У северной стены монастыря, в тени, сидела молоденькая девушка лет семнадцати. Комитас замедлил шаги, подошел, нагнулся к ней и сказал:

— Здравствуй, майрик![9]

Девушка испуганно вскинула голову, потом долго-долго смотрела в грустные глаза архимандрита и жалко улыбнулась.

— Жениха своего потеряла в пути...

— Скажи мне его имя, отыщу.

— Тигран Басмаджян изТалворика.

— Отыщу.

Девушка с удивлением взглянула на архимандрита, собираясь поблагодарить его, но не успела. Комитас уже отошел и, закутавшись в черную рясу, медленно направился к кельям.

Смеркалось. В узкое окно кельи виднелся отсвет пламени очагов. Не спалось. На столе, рядом с нотной тетрадью, лежал рисунок ученика. Из кафедрального собора доносился перезвон колоколов, словно там висели не колокола, а сломленные скорбью сердца...

В этот день он не записал ни одной песни, но в этот же день родилась песнь «Антуни», она родилась строка за строкой.

Сердце мое, ты поверженный тот дом,

С грудями балок, с осевшим столбом...

Перевела М. Сагиян

Журавль

Чужие матери, чужой язык, не слышно армянской речи, не слышно армянских песен.

Продавщицы цветов, но ни одного анемона, ромашки, мальвы, тимьяна.

Собор богоматери со своими зловещими каменными химерами и люди, идущие на молитву.

Колокола звонят так мелодично. Внутри собора отлитые из бронзы богоматери, распятия Христа, святые, лампы, подсвечники, великолепие, блеск.

Он невольно опустился на колени. Но кому молиться? Этому богатому чужому богу? Его бог остался там — в убогой сельской церкви.

Там сквозь купол было видно небо. Стрижи влетали в ризницу, кружились в ней и снова вылетали, чтобы исчезнуть в необъятной небесной сини.

В мелодичном перезвоне колоколов собора богоматери ему слышался перезвон колоколов сельской церкви — дин-дон, дин-дон. Он видел себя, Арама, того Арама, которого оставил на берегу родного ручья. Тогда он стоял у мельницы, растерянный, с цветущей веткой пшата в руках, дожидаясь Заруи. Перед ним возникли потускневшие маленькие глаза матери, руки,

загрубелые, в набухших синих венах, напоминающих запутанные дороги скитаний. Сколько раз он хотел отправиться в чужие края на заработки, но мать не отпускала его: «Не уходи, сынок, лучше жить впроголодь, не уходи, похоронишь меня, тогда и уйдешь». Односельчане похоронили мать, и осталось только письмо, написанное сельским священником в Париж, в армянскую церковь, пришельцу из Муша — Араму.

«Не уходи, сынок, не уходи...» В звоне колоколов таял голос матери, таял, как свеча в подсвечнике, зажженная кем-то другим. Хотелось бы поставить свечу и самому, но не на что было купить ее. Он не молился. Устремил взор на тающую свечу, вспомнил...

...Когда Арам покидал село, с деревьев падала тута. Благоухал пшат, над селом стоял запах свежееиспеченного лаваша, с речки доносилось однообразное кваканье лягушек... Было солнце, раскаленное добела солнце, были глинобитные стены пшеничного цвета, тени и темней, чем тени, отливающие синевой, буйволы с кусками дерна на рогах; посреди села, на чинарах, — аисты, под чинарами — старики, и дорога, убегающая по мосту из красного камня, которая привела его сюда, дорога скитаний, превратившая его в хариба[10].

Долог был путь странствий — сперва Арам стал грузчиком в порту Константинополя, едва зарабатывал на хлеб. В порту были соотечественники, были армянские песни и весточки с родины. Но вот прибыл французский пароход, где-то требовались грузчики, и Арама привезли к этим чужим берегам, где нет армянской речи, не доходят весточки с родины и нет армянских песен.

Не доходят весточки, но прилетают журавли.

Медленно текла Сена, почти не текла. На реке зажглись огни, у мостов толпились катера и пароходы. Мгла заволакивала пары, сидевшие на каменных скамейках набережной.

— О Париж, мой Париж, — напевал мальчишка, торгующий газетами.

Арам шел, разрывая завесу, сотканную из шума, песен, людских голосов. В душе он носил иной мир, носил бережно, словно боялся, что этот мир может разбиться, рухнуть. Арам сравнивал себя с лодочником, лодка которого запуталась в водорослях, облеплена ракушками и не в силах достигнуть берега. Она наполняется водой, она уже наполовину погружена и вот-вот пойдет ко дну. Вдруг он почувствовал усталость, словно долго и бесплодно греб. «Пускай тонет», — неожиданно подумал Арам и сразу успокоился.

Неподалеку с шумом плеснулись о воду весла. Арам не оглянулся, догадавшись по веселым восклицаниям, что это возвращаются с прогулки. «Радость сразу причалила к берегу», — подумал он неволью.

— Мосье, видно, что вы чужестранец, — сказал кто-то, — вы любите только свою родину.

Прибывшие, очевидно, продолжали прерванный разговор.

Тот, кого называли чужестранцем, рассмеялся. Пожалуй, слово «чужестранец» и заставило Арама оглянуться.

К набережной направлялась группа мужчин и женщин. Чужестранец отличался от своих друзей, — редкая бородка, грустные глаза. На нем — черный редингот и черная шляпа с узкими полями.

Компания расположилась на одной из скамеек набережной.

Куда было идти Араму? Некуда. Зажег сигарету и, делая вид, что смотрит на реку, облокотился на перила.

Прислушался к речи чужестранца.

— Да, больше всего я люблю свою обездоленную родину.

— Вы фанатик. — Это был женский голос.

— Пускай фанатик, — ответил чужестранец (Арам уже различал его голос), — называйте, как хотите, но я люблю свою родину.

Арам смял сигарету в пожелтевших от табака пальцах.

«Где еще в мире найдется страна, претерпевшая столько бед?» Незнакомец словно хотел лишить родину Арама первенства в ряду обездоленных стран.

Медленно текла Сена, почти не текла. Арам закурил новую сигарету. Рядом заговорили о музыке, однако все, что не относилось непосредственно к жизни, не трогало Арама.

— Музыка — это жизнь, — проговорил чужестранец, — наши песни посвящены харибам и бездомным, нерасцветшим веснам, заснеженным горам.

«Это так, — согласился Арам, — но это наши песни». Он оглянулся. В глазах чужестранца было столько тоски, что Арам почему-то почувствовал себя виноватым. «Ну, конечно, должно быть, и у него на родине такие песни».

— Маэстро, вы обещали спеть, — напомнила одна из женщин.

Чужестранец смотрел на Арама.

— А я уже спел, неужели вы не слышали?

Все умолкли, с реки повеяло прохладой, послышался глухой плеск воды.

— Разве вы меня не услышали? — спросил маэстро.

— Да! — воскликнула одна из женщин, — по-моему, вы спели радостную, солнечную песню.

«Совсем и не радостную, грустную-прегрустную», — подумал Арам.

— О чем ты пел? — спросил один из собеседников. — Спой вслух.

«Спой, спой вслух», — взглядом просил Арам.

Журавль, куда летишь? Крик твой — слов сильней!

Журавль, из стран родных нет ли хоть вестей?

Армянский язык, родимый язык! Было в нем и благоухание явшана[11], и синее, как незабудка, небо. Кто этот чужестранец? Как Арам не догадался, что он армянин? Сигарета выпала из пальцев Арама. Тоненькая струйка дыма, похожая на нить, что наматывалась на веретено в руках матери, взвилась и исчезла.

«Журавль, из стран родных нет ли хоть вестей?» Это был армянский язык, и Араму показалось, что он слышит журчанье родных ручьев, видит, как кто-то задул огонь и опалил себе ресницы. Это Заруи. Она вышла в сад. У грядок, где посеян реан[12], он подошел к ней.

Арам поцеловал Заруи в глаза и ощутил на губах вкус опаленных ресниц. «Уходишь в чужие края?» — «Ухожу, но вернусь».

Была весна, в темноте белело цветущее дерево, по небу пролетали журавли, и один из них тоскливо курлыкнул. «А это тебе, возьми с собой», — и Заруи протянула Араму листочки реана.

Чужестранец пел, пел, не спуская глаз с Арама. Арам невольно опустил руку в карман, нащупал засохшие листочки реана, подаренные Заруи.

Журавль, из стран родных нет ли хоть вестей?..

Чужестранец перестал петь, вокруг было тихо, шумела только Сена.

— Комитас, один только «Бездомный» прославил тебя на весь мир, — дрожащим от волнения голосом проговорил стоявший рядом француз.

Арам хотел подойти и обнять человека, которого называли Комитасом, сказать: «И я армянин, и я хариб».

— Вы знакомы? — спросила одна из женщин, заметив волнение Арама.

— Знакомы, — ответил Комитас.

— Где вы познакомились?

— В этом мире.

— Как тесен стал мир для бродяг.

— Неправда! — по-армянски крикнул Арам.

Женщина ничего не поняла.

Комитас медленно подошел к Араму.

— Ты хариб?

— Хариб... — Арам опустил голову. Ему стало стыдно за свой крик.

— Дай поцелую тебя, мой хариб!

Из горсти Арама посыпались крошки реана. Он испуганно поднял глаза:

— Дай я поцелую тебя, ты ведь принес весточку с родины, мой журавль...

Перевела М. Сагиян

Дрозд и горлица

Ранняя весна, а земля еще не оттаяла, тверда как чугун. Дрозды уселись на мохнатые спины

овец. Пастух Мкртыч, то и дело постукивая друг о друга кожаными постоломи и приплясывая, чтобы согреться, с привычной тоской думал о своем разоренном и обездоленном народе.

«Настали страшные времена, овцы коз приносят!» — доносились издали, из монастыря, причитания юродивого, и пастух проклинал этого дурачка, злился на себя самого и на весь белый свет...

Изголодавшиеся беженцы расположились вокруг монастыря, и он сам, бежавший от турок еще в 1896 году, пожалел земляков, отнес им вчера ягненка.

«Тьфу, плохой я пастух, берегу ягнят от волков, а сам ношу их беженцам... Но и то сказать, разве ягнятам не все равно, кто их съест?.. Господи, если такова пастьба, то преврати меня в агнца!» — подумал он.

Пастух взглянул на небо. Облака были похожи на разводы сливок в молоке. Ему показалось, что бог приложил ухо к просвету в небе и слушает его мысли, и он, чтобы богу было слышнее, повторил эти слова вслух:

— Господи, преврати меня в агнца твоего, такого же, как вардапет!

Вокруг не было ни души. Была только стужа, овцы с ягнятами да произнесенное им имя вардапета Комитаса. Тот, бывало, каждый День дожидался возвращения стада и, подоткнув полы рясы за пояс, входил вместе с овцами в село. Однажды даже пастух протянул архимандриту прутик и предложил: «Гони сам стадо», — а тот ответил: «Пастыря из меня не получится, я — жертвенный агнец».

Пастух по привычке огляделся. Ему не хотелось сейчас вспоминать прошлое, но среди беженцев не оказалось бывших его односельчан, и это наполняло сердце тревогой, мысли все время перескакивали от монастыря к русской армии, а от нее снова к Комитасу, к беженцам и снова невесть куда...

Что бы это означало? Никогда он не вспоминал детскую присказку, ни разу, а сейчас она так и вертелась на кончике языка:

Чив, чив,

Шерсть спряду,

Чулки свяжу,

А потом -

Фюи-и-ить -

В бабкин дом!

А бабкин дом стоял в их селе на берегу реки. С тревогой и надеждой искал он вчера среди беженцев бывших односельчан, но никого не нашел. Ему сказали, что из его родного села никому не удалось спастись. Всех земляков вырезали, проклятые. Сам он еще во время первой резни, двадцать лет назад, покинул родные места, а вот сейчас переживал все сызнова, и забытая присказка, услышанная когда-то от матери, так и вертелась на кончике языка: «Чив-чив...»

Кому прясть, кому надевать связанные чулки? Воробью, дрозду или вороненку? Ему никак не удавалось вспомнить, кто же из них прял, вязал чулки, а потом летел в бабкин дом и повторял все сначала. Чив-чив-чуить, дрозд? Нет, не так. Чив-чив-чивик, воробушек? Опять не то. Чивик, вороненок? Нет, не вспомнишь, хоть ты тресни.

Пастух умолк, огорченный, что память стала такой дырявой, потом поворчал на себя: «Что со мной? Чего так разболтался?» Досада нашла выход, когда он обратил ее на себя. Это успокоило.

Воробушек, дрозденочек или вороненок пусть себе прядут, вяжут и летят куда хотят! Ему-то что за дело? Ему идти некуда. Родина во власти врагов. А он вот уж двадцать лет, как живет тут, возле овец. И дрозды будут всегда жить здесь, дремать и просыпаться на овечьих спинах, рыться в их шерсти, разыскивая насекомых, беззаботно петь, а потом вместе со стадом ночевать в хлеву...

«А что же такое слышал я о шепелявом Давиде[13]? Помнится, будто смешал он овец с волками и другим зверьем?» — спросил себя пастух. Спросил и, обхватив голову ладонями, подождал ответа. Ответа он не получил, но случилось нечто чудесное...

...Из дальней дали, из мрака лет, явилась и предстала перед его мысленным взором утраченная родина со всеми своими селами, возделанными равнинами, преданиями. Старики, усевшись вокруг очага, завели свои нескончаемые рассказы. Тут он увидел самого себя, тогда еще молодого. Он только что вернулся с пашни и хлебает свой танапур, потом отодвинул хлеб, отставил миску и стал прислушиваться к древним притчам стариков...

...Прихожане пожаловались попу, что в пещере не иначе как нечистая сила поселилась. Поп с крестом и хоругвью пошел изгонять нечистого из пещеры. Заглянул он в пещеру, поднял крест, вглядываясь в темень... Тут-то медведь, поселившийся в пещере, и снес ему голову. Возвращались с пашни мужики, глядят — лежит безголовый поп. Заспорили они. Один стоял на том, будто поп пришел сюда без головы, другой доказывал, что с головой. Долго спорили они, потом пошли к попадье, чтоб та рассудила их. Попадья выслушала спорщиков, чуть призадумалась и сказала: «Видит бог, не знаю, была ли у него голова, когда он пошел изгонять нечистую силу из пещеры, но утром, когда он хлебал свой танапур, помнится, вроде бы бороденка-то у него моталась...»

...А вот как хитрый дед обманул злую невестку. Каждое утро как встанет, так присказку и скажет:

Пахтаница, пахтаница, —

Дед поест — и за плужок.

Мамалыга, мамалыжка, —

Дед поест — и сразу с ног...[14]

А невестка-то и поверила и давай кормить деда не пахтой, а мамалыгой, чтоб поскорей помер. А дед от этакой пищи только сил набирался и жил долго-долго.

...Да, в тот вечер Мкртыч, только что вернувшийся с пашни, сидел и слушал, забыв о своей похлебке, древние притчи. Было полнолуние, и рассказы стариков тянулись за полночь... Он снова посмотрел на небо. Сейчас на нем, подернутом молочной пенкой, белесом, не было ни луны, ни единого просвета, и он вслух подумал:

— Эх, молодость, молодость! Вот времечко-то было! Даже злая невестка была легковерна, а нынче?..

Да, постарел, одряхлел он за эти два десятка лет, и каждый вечер, когда вместе с овцами, ягнятами да дроздами на их спинах возвращается он в село, ребятишки кричат ему вслед:

— Беглец Мкртыч идет! Старый дурень смешал овец с дроздами!

Эх, горькая судьбина. Да что тут поделаешь? Так было, так и будет. Ранней весной дрозд не сядет на мерзлую землю, чтоб ножки себе не застудить. Он усядется на овечью спину, весело запоет, скоротает ночь в хлеву и ранехонько отправится все на той же овечьей спине на выгон. Овечка — кроткая тварь божья, чего ж дрозду ее бояться? Дрозду и человека не след бояться, а если он кого-нибудь испугается, то этому человеку, стало быть, не место в мире сем, где все создано господом — горы, камни, деревья, травы...

Пастух посмотрел вдаль. На фоне белесого неба темнел купол собора, и ему в это мгновение почудилось, что собор — тоже старый пастух, сидит, окруженный стадом домов, и думает о мирских делах.

— Жизнь за тебя отдам, святая Марута![15]

Пастух теперь все называл святыми местами, и монастырь был для него святой горой Марутой.

Когда стемнело, он поднялся с камня, еще раз взглянул на собор и долго ждал, словно надеясь, что и он поднимется с места; но, сообразив наконец, что собор-то, должно быть, дальний странник и долго ему еще надо отдохнуть, погнал стадо к Вагаршапату[16].

Однажды, давно это было, и сколько лет с той поры прошло, теперь он уж и не припомнит, он вот так же, как сегодня, возвращался со стадом в село и у монастырских стен встретил архимандрита.

— Здравствуй, Мкртыч.

— Храни тебя господь, вардапет.

— У меня есть кое-что для тебя, Мкртыч. Если хочешь, зайди, сыграю тебе.

— А что ж, и зайду, отчего ж не зайти.

В келье архимандрит Комитас угостил его черным кофе, потом уселся на табуретку перед каким-то большим черным блестящим ящиком и пальцами осторожненько-осторожненько, осторожнее даже, чем дрозды, когда они садятся на спины овец, прикоснулся к черным и белым перекладинкам. И родились чудесные звуки. Мкртычу никогда прежде не доводилось слышать ничего подобного. Сперва ему почудилось, будто это ребятишки делают свои первые шажки, учатся ходить, но потом, когда он всмотрелся, словно наяву увидел под пальцами архимандрита своих черных и белых ягнят. Черные и белые ягнятки... На их шейках висели колокольчики, и колокольчики эти звенели, переговаривались, перекликались между собой, отдавались эхом, и было это так явственно, так наглядно, что он не выдержал:

— Так это же черные и белые ягнята, вардапет!

- Где?

— Эти, что ты разбросал перед собой.

А ягнята шли, шли и шли, колокольчики звенели, переговаривались, перекликались,

отдавались эхом, и так грустно было все в этом мире и так безнадежно, что он снова не выдержал:

— Ради бога, сделай теперь так, чтоб они пошли пастись на траву. Пускай вырастут, станут овцами да баранами, ягняток принесут.

Архимандрит улыбнулся, ясно так улыбнулся, и легонько, как облачко касается горной вершины, скользнул пальцами по перекладкам и расстелил зеленые луга перед его черными и белыми ягнятами...

Теперь, когда он рассказывает обо всем увиденном и услышанном в келье архимандрита, ему не верят. Говорят, ничего-де такого не было. Как это, мол, мог архимандрит музыкой разбросать в келье зеленые луга? Но было так, истинно так! Он своими глазами явственно видел их, а после даже помог архимандриту опустить большую крышку ящика, запереть его, а немного погодя вышел из кельи, погнал стадо к Вагаршапату. Архимандрит пошел его проводить.

По дороге он сказал:

— Знаешь, Мкртыч, мы с тобой такие же божьи твари, как дрозды, овцы, ягнята... Вот сейчас овечек ждут в селе, открыли ворота и ждут. Когда я вместе с ними вхожу в Вагаршапат, мне кажется, что и меня ждут. Хочешь, начну блеять, как овечка, и ягнята отзовутся. Да, Мкртыч, я и вправду могу блеять по-овечьи. — И он, как беспечный ребенок, заблеял. Ягнята сбились в кучу, а архимандрит весело рассмеялся и, подоткнув полы рясы за пояс, еще разок заблеял по-овечьи. Почему-то именно тогда Мкртыч впервые понял, что сердце архимандрита Комитаса разбито, и он, желая сделать ему что-нибудь приятное, протянул ему прутик и предложил:

— Может, ты, вардапет, хочешь гнать стадо?

— Я?.. Плохой из меня пастырь, я — жертвенный агнец божий!

Видно, он уже тогда знал, что должно случиться, а может, и не знал, но, если не знал, почему же тогда он склонил голову к плечу и скорбным голосом тихо и кротко запел. Мкртыч сейчас, спустя много лет, не мог припомнить всю песню, но отдельные слова остались в памяти, а еще запомнилось скорбное лицо склонившего голову и поющего архимандрита. Сейчас, когда его нет, когда он ушел и не вернулся, в ушах пастуха снова раздается его давным-давно отзвучавший голос. Так пели у него в селе шерстобиты. Он даже ощутил запах соломы — это пахли мокрые от дождя глинобитные стены. Мкртыч тогда сказал об этом архимандриту, а тот чему-то снова обрадовался, начал приплясывать, обнимать и целовать ягнят в мордочки.

Чудной человек был архимандрит — то грустил, а то вдруг радовался, в песнях вола называл братом, а куропатку — израненной курочкой и спрашивал:

— А скажи-ка правду, кто лучше поет — я или шерстобиты? Ну, объясни-ка, почему тебе вспомнился запах мокрых от дождя стен, когда я пел?

Тогда Мкртыч промолчал, но сейчас, вместе с воспоминаниями, до него снова донесся откуда-то запах мокрых стен, запах мокрой соломы. Должно быть, потому, что в детстве, когда шерстобиты приходили к ним в село, день обязательно бывал дождливым.

А сейчас примораживает, земля звенит под овечьими копытами. Вокруг монастырских стен бродят изголодавшиеся беженцы, и при виде их почему-то исчез из воспоминаний пастуха запах мокрых от дождя стен.

Давно уже ягнят в стаде поубавилось — зарезали, съели, не дав им стать взрослыми овцами

и баранами, принести ягнят. Голодно. И пастух стал бояться, что скоро в селе не останется ни одного ягненка и некого будет ему пасти, стал бояться, что больше никогда не увидит ушедшего на чужбину архимандрита Комитаса.

На дороге стояла толпа голодных беженцев и глазами поедала ягнят.

«Вот сейчас они набросятся на них, — подумал Мкртыч. — Да, нелегкое это дело, пастушество».

Старик стал припоминать одного за другим исчезнувших ягнят, и стадо стало таять; глаза ягнят остекленели, зеленые от травы язычки выпали из уголков рта...

...Ни один из беженцев даже не пошевелился. Они съели ягнят голодными глазами, насытились и молча побрели на луга собирать съедобные травы и корни.

День такой студёный, а земля такая мерзлая, что вряд ли беженцы смогут чего-нибудь раздобыть. Мкртычу захотелось позвать их и раздать им всех ягнят.

— Да, не гожусь я в пастухи! — еще раз подумал он вслух. — Плохой из меня пастух!

Он прислушался к звукам своего голоса, потом к печальному и заунывному перезвону соборных колоколов и вздрогнул.

Служили панихиду. И не по одному покойнику, а по тысячам людей и, быть может, по архимандриту Комитасу, певшему песни, в которых вола называли братом, куропатку — израненной курочкой, и бывшему таким же божьим творением, как эти горы, камни, деревья, травы, овцы...

Мкртыч бросил прутик, позволил стаду разбрестись и, повернувшись лицом к собору, хриплым, старческим голосом произнес:

— Не получился из меня пастух. Господи, какой я пастух! Я, как и вардапет, твой жертвенный агнец!

Колокола собора звенели печально и заунывно. Шла панихида, и старый пастух опустил на колени посреди дороги и стал истово молиться об утраченной родине, о зарезанных ягнятах и об ушедшем на чужбину архимандрите с его песнями, бередящими душу...

Перевели В. Власов и Н. Манукян

Ло-ло

Старый священник пришел издалека, постолы его прохудились. Он присел на ступеньки у входа в покои католикоса, снял постолы и принялся за их починку. Он сидел склонившись над своей работой, и Комитас не видел его лица, а только свалявшиеся, никогда не знавшие гребня сивые космы.

Комитас ждал, а тот, нагнувшись, поправлял ремешки постолов.

Весть о приходе старого сельского священника из Сасуна принес один из семинаристов, и Комитас пришел, чтобы повидаться с этим святым отцом, который, по слухам, был неграмотен, но знал все евангелие наизусть.

— Здравствуйте, отче.

— С милостью тебя божьей, сын мой, — ответил священник, не поднимая головы.

Закончив свое дело, священник поднялся, поправил широкий пояс из сыромятной бычьей кожи, кинжал и лишь теперь заметил молодого худощавого, смуглого вардапета.

— Бог в помощь, святой отец.

— Да будет с тобой милость божья, отец, — ответил вардапет.

Священнику было за семьдесят. Все лицо его заросло пышной сивой бородой, начинавшейся от маленьких, запавших глаз, над которыми, как карниз из черного туфа над окнами, нависали густые брови.

— С Сасунских гор прибрел я к святейшему католикосу, — заговорил он, не дожидаясь вопроса.

И они стали ждать вдвоем.

Комитас почему-то ни о чем не спросил старика, хотя и пришел сюда ради вестей из Сасуна. Он отказался от расспросов, может быть, потому, что священник сразу же погрузился в себя, чем-то напомнив Комитасу запертую церковь. Они стояли рядышком и молчали. Священник смотрел на вардапета и, казалось, не видел его. Может быть, он вспоминал свою ветхую сельскую церквушку и думал о том, что в этом году дождей мало, а на просяные поля Сасуна жучок напал. Кто знает, о чем может думать старый сельский священник, о котором рассказывали, что он знает наизусть евангелие от начала до конца, а после проповеди пашет.

Секретарь пришел сказать, что католикос ждет. Священник снял постолы, взял их под мышку, потом опустился на колени и так, на коленях, пополз к покоям католикоса. Комитас хотел было заметить, что это старик мог бы сделать у самых дверей, но не посмел: священник самозабвенно шептал молитву.

В дверях приемной священник на мгновение замешкался, потом увидел сидевшего в кресле католикоса айрика[17] Хримяна, воздел над головой руки, и постолы с глухим стуком упали на ковер. Комитас нагнулся, поднял постолы и спрятал их под фараджу.

— Айрик, — низким, хриплым от волнения голосом заговорил священник, — у меня было трое сыновей, и все трое пали в сасунских боях. Я пришел просить тебя, чтобы ты прочел по ним заупокойную. Сердце от горя стучит, как надтреснутый колокол.

Голос священника дрогнул.

Старый католикос поднялся с кресла. Комитас заметил на глазах его слезы. Католикос подошел к священнику, поднял его, подвел к своему креслу и усадил. Потом молча опустился на колени перед священником. Тот в ужасе вскочил с кресла.

— Сиди, — приказал католикос, и он робко сел.

— Отче, — сдавленным голосом проговорил Хримян, — у меня были тысячи сыновей, и все они пали в сасунских боях. Прочти заупокойную по ним. В сердце моем похоронный звон тысяч колоколов.

Постолы выскользнули из-под фараджи и упали, но Комитас не почувствовал этого, не поднял их. Застыв от горя, он изо всех сил крепился, чтобы не зарыдать.

В зале на миг воцарилось скорбное молчание. Католикос ждал, склонив голову перед священником. И тот могучим басом начал читать заупокойную молитву. Потом встал,

подошел к католикоосу, поднял его с колен, подошел к Комитасу, нагнулся, вытащил из-под его ног свои постолы и вышел.

— Вардапет Комитас, — сказал айрик Хримян, — пригласи этого священника в свою келью и не позволяй ему уходить до завтра. Он пришел издалека и очень устал. Вечером, после службы, приведи его ко мне снова, мне нужно побеседовать с ним.

Комитас поклонился и вышел. Священник, присев во дворе на ступеньках, обувался, и, когда Комитас подошел, он на этот раз поднял голову, печально улыбнулся и сказал:

— Я так и знал, что приду и облегчу великую скорбь айрика.

Старый священник остался ночевать в келье Комитаса. Комитас попросил принести для гостя постель, а сам, как всегда, лег на циновку.

— Завтра я уйду, ибо в горах продолжают сражаться. На Сипан[18] пойду... — Старик говорил это, сидя на краю постели и раскуривая трубку. — Я пошел в горы с молодыми, трое сынов было у меня, и все трое пали в боях.

И он принялся неторопливо и обстоятельно рассказывать о молодых земляках, с которыми ушел в горы, рассказал об их командире генерале Андранике — плотнике из Шап?н-Гаранс?ра, потом лег и заснул мертвецким сном.

Комитасу не спалось. Он сидел на циновке, смотрел на спящего гостя, и в душе его рождалась песня, которую он хотел посвятить мужественным защитникам Сипана. Он одну за другой перебирал музыкальные фразы, стремясь найти такие, которые смогли бы передать людям то, о чем поведал ему старый священник.

На столе лежал текст песни, написанный Мануком Абегяном, преподававшим литературу в духовной семинарии. Слова в какой-то мере подходили к услышанной сегодня истории.

Он поднялся с циновки, взял стихи, подошел к пианино и, не поднимая крышку, стал мысленно напевать:

Ло-ло,

На Сипан-горе...

Ему почудилось, что он видит вооруженных всадников у подножья Сипана. Всадники едут рысью, кони устали, а из-под седел поднимается пар.

Он подошел к окну кельи. Ночь уходила. Вдали, за тополями, уже обозначилась полоска рассвета. Монастырский двор был пуст. Семинаристы еще спали беспробудным сном, спал и старый священник.

«Ло-ло», — доносилась откуда-то извне знакомая музыкальная фраза. «Ло-ло», — вторил ей кто-то в его душе, подпевая без слов, и Комитасу казалось, что он вновь слышит рассказ старого священника.

...Удальцы проезжали на гнедых, вороных, каурых и чалых конях. По обеим сторонам улиц в арыках журчали ручейки, ветви лохов сводом сходились над нашими головами. Мы ехали, пригнув головы, чтобы не задевать ветвей, но все-таки задевали их, серебро листьев падало нам на плечи, застревало в волосах, и, когда мы проехали по улицам, все молодые стали

пожилыми, поседели, как я, — звучал в памяти голос священника.

«Ло-ло...»

Улица была узка, кони сталкивались крупами, боками. Когда улица кончилась, мы выехали на простор и поскакали.

Ло-ло, на Сипан мы шли...

...Священник мирно спал, но под закрытыми веками словно притаились видения походных сцен, о которых он рассказал.

Комитас теперь явственно видел во главе отряда всадника на белом коне — плотника из Шапин-Гарансара. У генерала Андраника были густые пышные усы, в зубах зажата трубка. Комитасу показалось, что он видит даже дым из трубки, который ветерок доносил до четвертого всадника, а потом он растворялся в синеве утренних сумерек. За всадником на белом коне на расстоянии одного локтя скакал старый священник, который сейчас мирно спал в углу кельи. На голове у него был башлык с кисточками, за широким поясом из сыромятной бычьей кожи — кинжал, за плечом — английский карабин.

Комитас покосился на спящего священника. Его кинжал лежал под кроватью, а ружья он не принес.

Комитасу на миг показалось, что цокот лошадиных копыт, который отдавался в его висках, может разбудить священника. И чтобы не потревожить гостя, Комитас тихонько отошел от окна, вновь опустился на циновку и решил не думать об этом. Но неведомо откуда, может вместе со стуком сердца, снова зазвучала мелодия песни. Он еле удержался от желания запеть, и ему почудилось, что он вновь слышит голос священника.

...Когда показывался враг, всадник на белом коне поднимал руку, подавал знак, и мы спешили, опускались на одно колено и стреляли. Андраник же, как всегда, не слезал с коня, смотрел вдаль и курил, и из трубки поднимался дымок, как из родимого очага.

Комитас слышал все это, явственно слышал, хотя в келье по-прежнему царила тишина, а монастырский двор был полон утреннего безмолвия. Он закрыл глаза, и келья наполнилась грозными, торжественными аккордами победного марша.

Ло-ло, идут на Сипан...

И он вновь отчетливо увидел в темноте кельи во главе колонны всадника на белом коне и рядом с ним священника. В утренней тишине он услышал продолжение рассказа. ...Когда мы шли в бой, генерал оборачивался и говорил нам: «Храбрецы сасунцы! Сейчас, в эту самую минуту, грабят еще одну армянскую деревню, сейчас убивают наших детей, матерей и отцов. наших сестер, возлюбленных наших, наших жен похищают и бесчестят. Вперед же, удалцы сасунцы!» Но вот уже два дня он молчал, не оборачивался к нам в седле. Мы ехали молча,

галопом, а мыслями своими были все там же, в последней разоренной деревне, перед разрушенным, еще дымившимся домом.

Это случилось за два дня до похода на Сипан. Спешили на помощь, но не успели, в деревню ворвался враг, всех жителей перерезал. И когда мы прискакали туда, у порога первого же дома увидели заколотого ребенка. Он крепко сжал кулачок. Раскрыли кулачок, в ладонке мученика лежала голубая бусинка. Генерал сошел с коня, опустился перед детским тельцем на колени, поцеловал его в еще не остывший лобик, потом взял бусинку и повесил себе на шею. С этого дня пули его не брали, стал он неуязвим и бессмертен...

...Печальный, щемяще печальный мотив услышал Комитас. Он возник внезапно, словно птица влетела в окно кельи. Прилетел, вобрал в себя героическую песню и стал упрямо кружить по келье. Комитас попытался прогнать его, но не смог. И сразу все исчезло: всадники больше не скакали, замолк голос священника. Комитас в страхе оглянулся. Но священник по-прежнему спокойно спал. Скорбная, траурная мелодия поставила Комитаса перед выбором: победный марш или реквием должен он написать в эти дни. Он сам не знал, что следует писать. Потом ему вдруг показалось, что он слышит голос собеседника, который настойчиво повторял: «Нашему народу нужны сейчас героические песни, он гибнет, но он борется». И Комитас снова закрыл глаза.

Долго-долго угасала где-то вдали скорбная музыка, родившаяся внезапно...

...И вновь поскакали всадники: теперь враг был близок. Воины спрыгнули с копей и дали залп по врагу.

Гора Сипан многократно повторила эхо. Потом раздался воинственный клич ликующих победителей: «Ло-ло!» Потом они предали земле павших героев, и вновь траурный марш торжественной поступью зашагал по полям, словно погибшие лишь прилегли отдохнуть до следующего боя...

...Священник уже проснулся и, сев на край постели, молча закурил трубку...

— Вардапет, — заговорил он, — я сейчас должен идти, меня ждут, я пойду.

— Католикос велел подать тебе коня.

— Пешком пойду, я дал обет, — сказал он и, помолчав, добавил — Я так и знал, потому и пришел, надо было ведь утешить его.

Перевели В. Власов и С. Казарян

Всадник на белом коне

Он похоронен в Париже, на кладбище Пер-Лашез.

Надгробие — всадник с обнаженной саблей. Всадник из серого гранита. А тогда он был на белом коне...

— На белом коне тебя издали заметят.

— Знаю.

— Целиться удобнее.

— Знаю и это.

— Смени коня.

Сколько раз он мог бы это сделать, он мог бы остаться в Болгарии или в тифлисском кафе «Чашка чаю» и часами разглагольствовать о «великой Армении от моря до моря», когда родина истекала кровью от озера до озера — от Вана до Севана. Мог бы еще и... Он горько улыбнулся, и усы шевельнулись.

— Кто еще видит меня?

— Беженцы.

Он взглянул вниз. По ущелью брели толпы беженцев. Брел его родной народ. За толпой беженцев тянулось стадо. Клубы пыли из-под коровьих копыт напоминали отдаленные разрывы снарядов.

Они отстали от толпы беженцев и начали подниматься в горы, чтобы преградить путь идущему по пятам врагу. Командование приказало двигаться на соединение с основными силами. Но он не мог выполнить этот жестокий приказ, не мог бросить земляков на произвол судьбы. Он потерял отчизну, и эти толпы страдальцев были для него ее частицей.

Генеральские погоны, крест, ордена теперь казались ему гирями. Сорвать бы и выбросить все это, если б...

Он снова посмотрел в сторону ущелья.

— Я должен остаться на белом коне для них!

— Но это очень опасно, генерал, вы слишком заметны.

— Иначе нельзя. Кто в трагический час не скрывает любви к отчизне и к своему народу, тот всегда на виду у врага.

Сказал и поморщился, недовольный своими словами. Так высокопарно говорят краснобаи в кафе «Чашка чаю». Покорный своей участи, он устало произнес:

— Говорят, будто мое присутствие вселяет в них надежду. А если это так, я останусь на белом коне.

По ущелью медленно, молча брели беженцы. Враг залил кровью и захватил их родину, и они уносили с собой свою землю, воду, города и села, могилы своих предков и, кажется, самую свою историю. Это знал враг и спешил настичь, перерезать всех, чтобы никто не спасся, не унес с собой права на все это. Не понял этого молодой офицер, прискакавший с приказом спешить на соединение с основными силами армии. Когда он ответил, что не может оставить в беде своих соотечественников, офицер этот пробурчал сквозь зубы:

— Экая ерунда!

А сейчас небось докладывает командующему фронтом: генерал Андраник, надо полагать, решил сдать, остается в тылу врага. Зажатая в зубах трубка задрожала от ярости, задрожал, разломился и ее дымок. Он еще раз посмотрел в сторону ущелья и подозвал адъютанта:

— Передай им, что могут сделать привал. Расставь дозоры, а потом найди того отставшего

русского солдата и приведи его ко мне.

Адъютант поскакал в ущелье.

Синяя вечерняя мгла легла на поля. В сумерках Андраник уже не различал лица солдат, из которых каждого знал по имени. Победивший генерал забывает о солдатах, чтобы не делиться с ними славой, побежденный — помнит, чтобы разделить с ними горечь поражения. А он, он — ни тот, ни другой, — он не победитель и не побежденный, он всего лишь армянин, потерявший свою родину, отчаявшийся армянин, попросту мирный армянин, который хотел бы жить спокойно, пахать землю, петь ороvelы[19], а по вечерам, усевшись на пороге своего дома, курить трубку и вести неторопливую беседу с соседями о деревенском житье-бытье.

И вдруг ему захотелось сойти с коня, присесть на первый попавшийся камень и побеседовать с солдатами о земле, о мирных будничных крестьянских заботах.

— Смбат!

От серой массы солдат, лица которых были неразличимы в сумерках, отделился его ординарец и подошел к нему.

— Слушаюсь.

— Смбат, разбей мою палатку у сасунцев.

— Будет исполнено, генерал.

Смбат ушел. Он так и не слез с коня, не присел на камень перекинуться словечком о деревенском житье-бытье. Тут он заметил, что кто-то из беженцев зажег костер в ущелье.

— Эй ты, шалый сасунец, сейчас же погаси огонь! — крикнул он. Огонь рассыпался искрами под чьими-то каблуками.

«И впрямь шальные эти сасунцы», — сердито подумал он.

Вдали послышалось жалобное тьяканье, какой-то пес в ущелье ответил басистым лаем, потом все снова затихло. На мгновение ему даже показалось, что нет ни беженцев, ни резни, ни великого народного горя. Ему захотелось погнать коня по Мушскому полю, снова ощутить в руках любимый плотницкий инструмент, выстрогать двери и обязательно колотушку, чтоб она извещала о приходе гостей: тук-тук, тук-тук...

— Ваше высокоблагородие...

Кто это «ваше высокоблагородие»? Да ведь это он сам! Андраник громко расхохотался. Солдат обескураженно уставился на странного генерала и зачистил заученной скороговоркой:

— Солдат Иван Федоров явился по вашему приказанию, ваше высокоблагородие...

— Вольно, братец. Я хочу поговорить о другом...

Чудаковатый генерал не говорил еще ни о чем, и солдат окончательно растерялся.

— Хочешь догнать своих?

— А вы разве чужие?

— Конечно нет. Я просто так, интересуюсь твоим мнением.

— Неужто война кончилась?

— Для одних — кончилась, для других — продолжается.

Солдат поглядел в сторону ущелья.

— Для меня тоже не кончилась, ваше высокоблагородие, — помолчав сказал он, вздохнув, и замолчал.

— Протяни-ка ладонь! — сказал, повеселев, генерал.

Солдат неуклюже протянул руку. Андраник нагнулся и высыпал в подставленную ладонь пригоршню золотистого душистого сасуна[20], потом, понизив голос, словно доверяя нечто весьма секретное, прошептал:

— Для меня тоже не кончилась.

Сказал и, не дождавшись ответа, повернул коня в ущелье.

Адъютант и Смбат поскакали вслед. Когда они уже подъезжали к беженцам, Андраник спешился. Адъютант взял коня за узду и остался на тропинке, дожидаясь возвращения генерала.

Измученные дальним переходом, беженцы сидели и лежали прямо посреди дороги. Маленькая девочка баюкала братишку. Андраник остановился поодаль и прислушался.

Девочка напевала колыбельную, ту самую, что он впервые услышал, когда сам был таким, как этот плачущий малыш. Девочка качала на своих худеньких коленях младшего брата. Ее глаза были совсем не детскими, на ее угловатых коленках вместо куклы был ребенок. Он плакал, и Андраник не мог больше видеть эти скорбно сгорбившиеся плечики, не мог больше слышать надрывавшую душу колыбельную, и он потупился... Но тут он увидел босые, окровавленные ноги девочки и, сам того не замечая, опустился на корточки, взял в ладони эти крохотные сбитые ножки и принялся бережно массировать их. Девочка удивленно посмотрела на генерала, на миг умолкла и снова затянула свою нескончаемую, похожую на плач, колыбельную. Братишка ее наконец затих.

— Смбат, — не окликнул, а почти простонал он, — прикажи солдатам взять детей к себе в седла.

— Это опасно, генерал, стреляют.

— Кто возьмет ребенка, пусть не участвует в бою.

— Слушаюсь, генерал!

Андраник, разговаривая со Смбатом, продолжал осторожно массировать окровавленные пыльные ножки девочки, а та, словно ничего не чувствуя и не видя, продолжала напевать свою колыбельную.

Беженцы узнали генерала. Какая-то старуха зашептала молитву, какая-то мать заговорила о своем горе, а он ощущал в своих ладонях теплоту окровавленных ножек девочки, и ему хотелось размазать эту кровь по лицу бездушного мира, безразличного к горю всех этих страдальцев, мира, который знал, что здесь происходит, но делал вид, что не знает, не видит.

Очнувшись от своих мыслей, он выпустил из рук ножки девочки, вскочил на коня и быстро поднялся на гору. У его палатки собрались в кружок сасунцы, курили трубки, один из них

рассказывал:

— Наша гора Талварик, наша деревня как раз у ее подножья, и дом наш на самом краю деревни. Теперь нет ни деревни, ни дома, ни матери, ни отца, всех зарезали. Один лишь Талварик стоит и будет стоять вечно. Большая гора Талварик...

Никто не отозвался на эти слова, все молчали, у всех было такое же горе. Генералу не хотелось нарушать эту тишину. Да, эти его воины теперь уже не те пастухи и виноградари, которыми они были извечно, и сам он не в Талварике.

Оставшись незамеченным, он вошел в палатку, прилег на ковер, разостланный на земле, и стал ждать. Но никто больше не говорил, и от этого скорбь росла, умножалась, становясь нестерпимой, а он так надеялся, что сасунцы примутся, как встарь, рассказывать истории, наивные и мудрые, и это поможет ему скоротать остаток ночи.

На рассвете в ущелье прокричал петух. Еще днем он приметил в ущелье этого петуха. Его со связанными ногами несла старуха. В этом петушином кличе было столько неиссякаемой веры в жизнь, в ее благостность, что на миг ему показалось, будто они ночуют в деревне, и стоит ему выйти из палатки, как он увидит дымящиеся очаги, гумно и мужчин, спешащих в поле. Но перед ним краснело, как треснувший арбуз, ущелье, а вдали выжженная голая каменистая земля, и больше ничего. Отряд уже построился, ожидая команды. Поодаль застыла группа всадников с детишками в седлах. Вереница беженцев уже потянулась из ущелья, и солдаты двинулись следом. Вдали раздался выстрел. Он оглянулся. Но враг не показывался, очевидно не решаясь преследовать отступающих. Андраник на белом коне с зажженной трубкой ехал рысью впереди ватаги своих удальцов сасунцев. Сасунцы пели древнюю песню:

Я смелый воин с Талварика,

Пред лютой смертью не поникну,

Я, вольный сын свободных гор,

Пред лютой смертью не поникну[21].

...Впереди еще полдня пути, а потом? Потом беженцев передадут передовым войскам и возвратятся, чтобы не дать врагу перерезать не успевших уйти армян. Командование снова прикажет не отрываться далеко от основных сил, но он со своими молодцами вернется обратно, непременно вернется.

Слева ехал Смбат, справа адъютант. Солнце припекало, и погоны, ордена были тяжелыми, как гири.

Беженцев приняли за линией передового расположения. Те, что попали сюда раньше, разбрелись по лагерю, надеясь разыскать среди только что прибывших своих родных и близких, выкрикивали их имена.

Одни находили родных, другие узнавали об их гибели от уцелевших земляков. Радовались и плакали. Молились и молчали, окаменев от горя. Какая-то старуха крепко вцепилась в узду белого коня.

— Где мои внуки? — исступленно кричала она. — Нет внуков, найди их, проклян, если не приведешь их!

Генерал молчал, трубка дрожала в его зубах. Сейчас прискачет нарочный с приказом остаться здесь.

— Смбат, — окликнул он, — прикажи поворачивать коней. Здесь нам делать нечего, а там нас ждут.

...И снова с боями пробивались на родину, и снова с боями возвращались, сопровождая горсточку беженцев, некоторых удалось спасти. И он, сидя на своем белом коне, думал о великом исходе своего народа, о многих тысячах зверски убитых и замученных и о том, что мир безразличен к их страданиям, мир притворяется, что не видит всего того, что делают с его народом.

Вдали хлопнул выстрел, и белый конь вдруг вздрогнул и зашатался. Он спрыгнул с седла, отряд остановился. Пуля пробила переднюю ногу коня. В больших печальных глазах коня были слезы. Он приказал перевязать коню ногу, снять седло. Когда это было сделано, он приказал привести ему другого белого коня.

— Не приканчивайте его, пусть живет. Смбат, мы уходим с нашей родины, и кто знает, суждено ли нам когда-нибудь вернуться! Белый пусть остается, это моя надежда, пусть останется здесь.

Когда отъезжали, раненый конь, хромя, двинулся было за нами, но тут же остановился, заржал, и ржанье его эхом отдалось в глубине темнеющей равнины.

Андраник обернулся. Мрак медленно поглощал Белого. Он уже не ржал, не делал попыток ковылять вслед за хозяином, он застыл недвижно, словно в горестном раздумье. И наконец тьма поглотила его.

В последний раз с боями пробились на родину и теперь с боями отступали. Андраник думал о Белом, который остался там, в родных местах, думал о последней своей надежде — о белом коне с простреленной ногой. Конь застыл на месте и ждет. Кого? Что? И кто знает, где суждено на чужбине найти кончину ему самому. Трубка, зажата в зубах, дрогнула и чуть было не выпала. Дрогнула, разломилась и струйка дыма, поднимавшаяся из нее. Он снова оглянулся. Белого больше не было видно.

Генерал похоронен в Париже, на кладбище Пер-Лашез. Он возвышается над своей могилой верхом на коне из серого гранита.

А между тем конь его всегда был белым, всегда...

Перевели В. Власов и С. Казарян

У стен мертвого города

Было так. Когда у городских стен появлялся врачеватель, зодчий, певец, странствующий проповедник или скоморох, стражи, расспросив его, кто он и откуда пришел, гостеприимно отворяли ворота; когда появлялись враги, пускали в них стрелы.

Сегодня к древним руинам пришел я, но некому меня окликнуть, открыть ворота. Пусть бы хоть за врага сочли, пустили бы стрелы, лишь бы увидеть древних стражей, лишь бы найти хоть какой-нибудь след жизни в этом погибшем, мертвом городе.

Так я стою и размышляю. И вдруг со скрежетом отомкнулись замки, открылись передо мной тяжелые ворота, и я, словно архиерей, или хозяин каравана, или строитель, чьи дома

дверями обращены навстречу теплым южным ветрам, а в ерды[22] которых заглядывают звезды, вхожу в город.

Пестрая, многоголосая жизнь бурлит на его улицах. Зодчий Трдат прогуливается с Саркисом-Казмохом[23] и строителем крепостей Джундиком-Брджашеном[24]. Летописец Асохик заказывает пергаменты кожевнику. Шануш, супруга господина Хачереса, с дочерью Мамахатун спешат в баню. Я здороваюсь с ними, потом на базаре прицениваюсь к персидским шалям в пестрых миндалевидных узорах и к индийским пряностям, спору в таможене с византийскими, арабскими и еврейскими купцами.

У караван-сарая какой-то нечестивец клянется могилой своего отца. «Верьте мне, люди, верьте, — взывает он, — два дня назад я убил родного отца, чтобы поклясться его могилой! Верьте!»

Найдется ли в целом свете второй такой мертвый город, который бы так ожил, наполнился бы голосами людей, умерших много веков назад, при встрече с их потомками и с такой щедростью открыл бы все то, что происходило в его стенах много веков назад, было сокрушено и навсегда замолкло. Пока я здесь, у его стен, город будет жить и умрет лишь тогда, когда я уйду. Но для чего уходить? Ведь именно здесь, в этом городе, были сказаны слова: «Тот, кто покидает свою родину, обкрадывает и себя и родину».

Нет такого дерева, которое защищало бы от ветра.

Когда она, первая красавица в городе, шла по улице и ветер играл ее платьем, открывая ее грудь нескромным взглядам, каждый армянин влюблялся, а каждый иноверец становился армянином.

Так каждый день проходила она мимо собора, и молодой архимандрит каждый раз молился за нее, просил у бога помиловать его грешную душу, а потом писал на полях молитвенника: «Нет такого дерева, которое защищало бы от ветра в бурю...»

Передо мной руины мертвого города, а я закрываю глаза и вижу, как ветер играет платьем Зузы, когда она идет мимо собора.

За моей спиной о чем-то шепчут деревья.

Эй, парнишка с серебряным поясом,

Ты на стенку к нам не влезай!

Эй, парнишка с серебряным поясом,

Стенку ветхую не ломай.

Коль одежду порвешь — на себя пеняй.

Не заштопаю, так и знай![25]

Эту песенку когда-то распевали влюбленные этого города, а я услышал ее много сотен лет спустя и теперь повторяю ее незатейливые слова «Эй, парнишка с серебряным поясом...».

На противоположном берегу реки — разрушенные стены погибшего города. «Неужели

столько камней могли обрушить влюбленные пареньки? — спрашиваю себя и отвечаю: — Не будь таким наивным, ведь прекрасно знаешь, что город разрушили орды завоевателей». Да, я знаю это, и все же мне не хочется сегодня вспоминать свирепых кочевников. Наивная древняя песенка щемит мне душу. И я думаю о том, что в конце-то концов юноша наперекор просьбам девушки перелез через стенку и, стоя под ее окном, принялся бы умолять ее:

— Выйди, девушка!

Выдь, голубушка!

И на косы взглянуть позволъ!

— Ай ты, парень шальной,

А на что тебе?

Не видал ты каната, что ль?

Любимая, мне думается, заштопала его порванную одежду.

Передо мной разрушенные стены погибшего города, повсюду видны заросшие травой, обтесанные камни, узорчатые карнизы, рухнувшие колонны и купола, а над зубцами стен струится свет и витает древняя песенка «Эй, парнишка с серебряным поясом...».

Рассказывают, что однажды из этих ворот вышел какой-то странник и спросил у стражей, можно ли, мол, еще засветло добраться до такого-то места, если гнать коня весь день. И стражники спросили его:

— А конь свой или чужой?

И он ответил:

— Чужой.

— Тогда доберешься.

Рассказывают еще, что когда хозяин коня добежал запыхавшись до ворот, странник был уже далеко, и он схватился в отчаянии за голову и воскликнул:

— Горе мне, мой бедный конь не выдержит такой скачки.

Рассказывают, что с тех пор каждый раз, когда всадник въезжал в город или выезжал из него, стражи спрашивали его:

— Твой конь или чужой?

На стене полуразрушенной церкви сохранились солнечные часы, по которым когда-то определяли время въезда и выезда караванов. Теперь они бездействуют. Выпал их бронзовый стержень, и навсегда исчезла отбрасывавшаяся им тень. На другом краю стены высечен символ вечности. День-деньской смеется он над сломанными солнечными часами,

ехидно приговаривая:

— Вы хотели разделить вечность и опровергнуть меня!

— Когда же это? — спрашивают солнечные часы.

— В те времена, когда в наш город еще приходили и уходили купеческие караваны.

И солнечные часы улыбаются, довольны, что вечность, чтоб подтвердить свою правоту, вынуждена ссылаться на свидетельства быстротечного времени.

Так живут на стене полуразрушенной церкви сломанные солнечные часы и вечность и, опровергая друг друга, утверждают и вечность и быстротекущее время.

Эх, Вараздат, Вараздат, как же мне поведать твою историю, если рассказ о тебе начинается неуверенным утверждением: «Жил или не жил, было то иль не было», да и сам я не знаю, существовал ли ты.

Итак, жил некогда в этом городе Вараздат, богатый и жадный, властолюбивый и жестокий патриций... И когда небывалый голод наступил в стране, и жернова обгладывали друг друга, умирающие бедняки с мольбами о корке хлеба простирали к нему руки, Вараздат отрубил эти руки, чтоб не беспокоили его понапрасну. Так и жил он, довольный собой и безрукими людьми, пока однажды, гуляя по берегу реки, не упал в воду. Увидев это, какой-то чужестранец, который не знал его нрава, протянул руку, чтобы вытащить его, а разъяренный Вараздат выхватил меч и...

Рассказывают, что, лишь став тонуть, он понял, что своим мечом отрубил единственную руку, когда-либо протянутую для его спасения.

Рассказывают, что на этом и кончается история Вараздата, но поскольку она начинается неуверенным утверждением — «жил или не жил, было то иль не было», то мне кажется, что Вараздат и по сей день тонет, отрубая руки, — и те, что просят у него помощи, и те, что подают ему помощь.

Рассказывают, что много веков назад ходил по городу человек, ведя на цепи волкодава, и кричал:

— Собак нужно душить собаками!

И где бы ни завидел собаку, спускал с цепи своего волкодава, и тот разрывал и душил дворовых собак. И наступил день, когда в городе не осталось ни одной собаки. Но хозяин волкодава продолжал ходить по улицам и кричать:

— Собак надо душить собаками!

Состарился и издох его волкодав.

Когда пришла зима, в город спустились с гор стаи волков. Но не было ни собак, чтобы залапать, ни волкодавов, чтобы сразиться с волками, и опустел город.

Рассказывают, что одним поздним вечером в этих местах проходил пастух. Ворота были закрыты, и он заснул под городской стеной. В полночь в одной из церквей раздался голос

пророка Ильи:

— Люди, восстаньте ото сна, пробудитесь, под стеной спит царь ваш, ступайте и приведите его!

Проснулся священник, вышел на улицу в одной рубашке и, свесившись со стены и увидев, что под ней лежит какой-то пастух, вернулся домой и заснул. Но голос снова воззвал:

— Восстаньте ото сна, пробудитесь, под стеной спит царь ваш, ступайте и приведите его!

И опять встал священник и, увидев, что под городской стеной лежит пастух, вернулся и снова заснул.-

На заре послышалось вновь: «Восстаньте ото сна...» Но священник даже не пошевелился. И спавший под стеной пастух встал и ушел со своими овцами.

Я часто думаю о некоронованном пастухе и о городе, который, оставшись без царя, погиб, опустел и умолк навеки. * * *

— Прохожий тенью промелькнет и будет позабыт, — говорит лукавый византиец Джундику-Брджашену. — Оставь же свою страну и иди к нам, в Византию. Многие ваши мастера — зодчие, ваятели — снискали у нас себе славу, почести, приобрели богатство. Не прогадаешь и ты.

Византиец развязывает мешочек с золотыми дирхемами. Джундик-Брджашен, тот, кто воздвиг башни и городские ворота, лишь улыбается в ответ. А византиец твердит свое:

— Сам посуди: стоит ли укреплять, то, чему завтра суждено рухнуть, обратиться в прах. Скоро не станет вас, армян, исчезнете с лица земли. Не тратьте же понапрасну свои умы и таланты, объединитесь с нами, как встарь вы не раз поступали с другими народами. Лев неверных уже занес над вами грозную лапу свою.

— Знай, византиец, — пусть лучше нас растерзает лев, но на нашей земле, чем жить нам под властью лис на чужбине. Таково мое последнее слово. С добром пришел к нам, подобиру-поздорову и возвращайся восвояси.

— Воля твоя, поступай, как знаешь, но сперва подумай: недаром ведь говорят, что бродячая лиса знает больше, чем спящий барс. Пройдут века, и ты сам и народ твой будут преданы забвению. Таково мое последнее слово. Оставайся же с миром.

Так сказал он много веков назад, а сегодня я пишу об этом, пишу по-армянски, на том самом языке, на котором Джундик-Строитель высек на стене армянские письма о своих деяниях: «Башни и ворота сии воздвиг я, Джундик-Строитель».

Не всякий проходит тенью, не всякий позабыт!

Перевели В. Власов и С. Казарян

Примечания

1

Лаглаго — аист.

2

Хачкар — каменный крест.

3

Ван — город в Западной Армении, находящийся в настоящее время на территории Турции.

4

Танапур - суп из кислого молока и пшеничной крупы.

5

Вардапет — архимандрит.

6

Фараджа — ряса.

7

Банджар — съедобная трава.

8

Антуни — бездомный.

9

Майрик — мама, матушка.

10

Хариб - странник, человек, ушедший в чужие страны на заработки.

11

Явшан — род полыни.

12

Реан — пряная съедобная зелень.

13

Шепелявый Давид — герой армянского народного героического эпоса «Давид Сасунский».

14

Перевод А. Казакова.

15

Марута — гора, священное место погребения героев эпоса «Давид Сасунский».

16

Вагаршап?т (ныне город Эчмиадзин) - одна из древних столиц Армении, где расположен монастырь, основанный в начале IV века, и находится резиденция духовного главы всех армян - католикоса.

17

Айрик — отец.

18

Сипан — гора в Западной Армении.

19

Оровел - песнь армянского пахаря.

20

Сасун — сорт табака.

21

Перевод А. Казакова.

22

Ерд — отверстие в кровле деревенских домов для света.

23

Казмох — мастер, который оформлял крест-камни, обелиски.

24

Брджашен — строитель башен и ворот, фортификатор.

25

Перевод А. Казакова.